

Те, кто уходит и те, кто остается

Автор:

Элена Ферранте

Те, кто уходит и те, кто остается

Элена Ферранте

Неаполитанский квартет #3

Действие третьей части неаполитанского квартета, уже названного «лучшей литературной эпопеей современности», происходит в конце 1960-х и в 1970-е годы. История дружбы Лену Греко и Лилы Черулло продолжается на бурном историческом фоне: студенческие протесты, уличные столкновения, растущее профсоюзное движение... Лила после расставания с мужем переехала с маленьким сыном в район новостроек и работает на колбасном заводе. Лену уехала из Неаполя, окончила элитный колледж, опубликовала книгу, готовится выйти замуж и стать членом влиятельного семейства. Жизнь разводит их все дальше, они становятся друг для друга лишь голосами на другом конце провода. Выдержат ли их отношения испытание переменами?

Элена Ферранте

Те, кто уходит, и те, кто остается

Все события, диалоги и персонажи, представленные в данном романе, являются плодом авторской фантазии. Любое совпадение с реально живущими или жившими людьми, фактами их жизни или местами проживания является совершенной случайностью. Упоминание культурно-исторических реалий служит лишь для создания необходимой атмосферы.

Elena Ferrante

STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA

Copyright © 2013 by Edizioni e/o

Published in the Russian language by arrangement with Clementina Liuzzi Literary Agency and Edizioni e/o

Эта книга переведена благодаря финансовой поддержке Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии

Questo libro e' stato tradotto grazie a un contributo finanziario assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d'Italia

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление.
Издательство «Синдбад», 2017

Правовую поддержку издательства осуществляет юридическая фирма «Корпус Права»

Действующие лица и краткое содержание первой и второй книг

Семья сапожника Черулло

Фернандо Черулло, сапожник, отец Лилы. Считает, что для дочери вполне достаточно начального образования

Нунция Черулло, его жена. Любящая мать, Нунция слишком слаба характером, чтобы противостоять мужу и поддерживать дочь

Рафаэлла Черулло (Лина, Лиля), родилась в августе 1944 года. Всю жизнь прожила в Неаполе, но в 66 лет бесследно исчезла. Блестяще успевающая

ученица, в десять лет написала рассказ «Голубая фея». После начальной школы по настоянию отца бросила учебу и освоила сапожное мастерство. Рано вышла замуж за Стефано Карраччи, успешно управляла колбасной лавкой в новом квартале, затем – обувным магазином на пьяцца Мартири. Во время летнего отдыха на Искье влюбилась в Нино Сарраторе, ради которого ушла от Стефано. Вскоре рассталась с Нино, от которого у нее остался сын, Дженнаро, он же Рино, и вернулась к мужу. Узнав, что Ада Каппуччо ждет от Стефано ребенка, окончательно порвала с ним, вместе с Энцо Сканно переехала в Сан-Джованни-а-Тедуччо и устроилась работать на колбасный завод, принадлежащий отцу Бруно Соккаво

Рино Черулло, старший брат Лилы, сапожник. Благодаря финансовым вложениям Стефано Карраччи вместе с отцом, Фернандо, открывает обувную фабрику «Черулло». Женат на сестре Стефано, Пинучче Карраччи; у них растет сын Фердинандо, он же Дино. Лила называет своего первенца в честь брата

Другие дети

Семья швейцара Греко

Элена Греко (Ленучча, Лен?), родилась в августе 1944 года. Рассказ ведется от ее лица. Элена начинает писать эту историю, когда узнает об исчезновении подруги детства Лины Черулло, которую называет Лилой. После начальной школы Элена успешно продолжает образование в лицее, где вступает в конфликт с преподавателем богословия, оспаривая роль Святого Духа, но благодаря отличной успеваемости и поддержке профессора Галиани этот демарш проходит для нее без последствий. По предложению Нино Сарраторе, в которого она с детства тайно влюблена, и с помощью Лилы Элена пишет об этом эпизоде заметку. Нино обещает напечатать ее в журнале, с которым сотрудничает, но редакция, по его словам, ее не принимает. По окончании лицея Элена поступает в престижную Высшую нормальную школу Пизы, где знакомится с будущим женихом, Пьетро Айротой, и пишет повесть о жизни своего квартала и своем первом сексуальном опыте на Искье

Отец, швейцар в муниципалитете

Мать, домохозяйка. Ходит прихрамывая, что бесконечно раздражает Элену

Пеппе, Джанни, Элиза — младшие дети

Семья Карраччи (дона Акилле):

Дон Акилле Карраччи, сказочный людоед, спекулянт, ростовщик. Погибает насильственной смертью

Мария Карраччи, его жена, мать Стефано, Пинуччи и Альфонсо. Работает в семейной колбасной лавке

Стефано Карраччи, сын покойного дона Акилле, муж Лилы. После смерти отца взял его дела в свои руки и быстро стал успешным коммерсантом. Управляет двумя колбасными лавками, приносящими хороший доход, и вместе с братьями Солара является совладельцем обувного магазина на пьяцца Мартири. Быстро теряет интерес к жене, раздраженный ее непокорным характером, и вступает в связь с Адой Каппуччо. Ада беременеет и, дождавшись переезда Лилы в Сан-Джованни-а-Тедуччо, перебирается жить к Стефано

Пинучча, дочь дона Акилле. Работает сначала в семейной колбасной лавке, затем – в обувном магазине. Замужем за Рино, братом Лилы, с которым воспитывает сына Фердинандо, он же Дино

Альфонсо, сын дона Акилле. Дружил с Эленой, в лицее сидел с ней за одной партой. Помолвлен с Маризой Сарраторе. После окончания лицея становится управляющим обувным магазином на пьяцца Мартири

Семья столяра Пелузо

Альфредо Пелузо, столяр. Коммунист. По обвинению в убийстве дона Акилле приговорен к тюремному заключению, где умирает

Джузеппина Пелузо, его жена. Работает на табачной фабрике, горячо предана мужу и детям. После смерти мужа кончает с собой

Паскуале Пелузо, старший сын Альфредо и Джузеппины. Каменщик, коммунист. Первым заметил красоту Лилы и признался ей в любви. Ненавидит братьев Солара. Помолвлен с Адой Каппуччо

Кармела Пелузо, она же Кармен, сестра Паскуале. Работала продавщицей в галантерее, затем благодаря Лиле получила место в новой колбасной лавке Стефано. Долгое время встречалась с Энцо Сканно, но после службы в армии тот ее без объяснений бросает. После расставания с Энцо обручается с рабочим с автозаправки

Другие дети

Семья сумасшедшей вдовы Каппуччо

Мелина, родственница Нунции Черулло, вдова. Работает уборщицей. Была любовницей Донато Сарраторе, отца Нино, из-за чего семейству Сарраторе пришлось покинуть свой квартал. После этого Мелина окончательно лишилась рассудка

Муж Мелины, при жизни грузчик на овощном рынке, умер при невыясненных обстоятельствах

Ада Каппуччо, дочь Мелины. С малых лет помогала матери мыть подъезды. Благодаря Лиле устроилась продавщицей в колбасную лавку. Встречалась с Паскуале Пелузо, но потом вступила в связь со Стефано Карраччи, забеременела и переехала к нему. У них родилась дочь Мария

Антонио Каппуччо, ее брат, механик. Встречался с Эленой и ревновал ее к Нино Сарраторе. С ужасом ждал призыва в армию, но, узнав о попытке Элены откупить его при помощи братьев Солара, оскорбился и расстался с ней. Во время службы заработал тяжелое нервное расстройство и демобилизовался раньше срока. По возвращении домой из-за крайней нищеты был вынужден подрачиться работать на Микеле Солару, который вскоре зачем-то отправляет его в Германию

Другие дети

Семья железнодорожника-поэта Сарраторе

Донато Сарраторе, контролер, поэт, журналист. Известный бабник, любовник Мелины. Когда Елена проводит каникулы на острове Искья и живет в одном доме с семейством Сарраторе, ей приходится в спешке возвращаться домой, спасаясь от преследований Донато. На следующее лето, узнав, что Лида встречается с Нино, и пытаясь заглушить боль ревности, Елена добровольно отдается ему на пляже. Позднее, спасаясь от навязчивых воспоминаний о пережитом унижении, Елена описывает этот эпизод в своей первой повести

Лидия Сарраторе, жена Донато

Нино Сарраторе, старший из детей Донато и Лидии. Ненавидит и презирает отца. Круглый отличник. Влюбился в Лилу и тайно встречался с ней. Во время их недолгих отношений Лида забеременела

Мариза Сарраторе, сестра Нино. Встречается с Альфонсо Карраччи

Пино, Клелия и Чиро — младшие дети

Семья торговца фруктами Сканно

Никола Сканно, торговец фруктами. Умер от воспаления легких

Ассунта Сканно, его жена. Умерла от рака

Энцо Сканно, их сын, тоже торговец фруктами. Лида с детства относилась к нему с симпатией. Встречался с Кармен Пелузо, но по возвращении из армии бросил ее без видимых причин. Экстерном отучился на курсах и получил диплом техника. После того как Лида окончательно порвала со Стефано, взял на себя заботу о ней и ее сыне Дженнаро, поселившись с ними в Сан-Джованни-а-Тедуччо

Другие дети

Семья владельца бара-кондитерской «Солара»

Сильвио Солара, владелец бара-кондитерской. Придерживается монархистско-фашистских взглядов, связан с мафией и черным рынком. Пытался помешать открытию обувной фабрики «Черулло»

Мануэла Солара, его жена, ростовщица: жители квартала боятся попасть в ее «красную книгу»

Марчелло и Микеле, сыновья Сильвио и Мануэлы. Ведут себя вызывающе, но, несмотря на это, пользуются определенным успехом у девушек. Лила их презирает. Марчелло был в нее влюблен, но она отвергла его ухаживания. Микеле умнее, сдержаннее и жестче старшего брата. Встречается с дочерью кондитера Джильолой, но жаждет заполучить Лилу, и с годами это стремление превращается в одержимость

Семья кондитера Спаньюоло

Синьор Спаньюоло, кондитер у Солары

Роза Спаньюоло, его жена

Джильола Спаньюоло, их дочь, девушка Микеле Солары

Другие дети

Семья профессора Айроты

Айрота, профессор, преподает античную литературу

Аделе, его жена. Работает в миланском издательстве, которому предлагает для публикации написанную Эленой повесть

Мариароза Айрота, их старшая дочь, преподает искусствоведение, живет в Милане

Пьетро Айрота, их младший сын. Знакомится с Эленой в университете. Они обручаются. Все вокруг уверены, что Пьетро ждет блестящая научная карьера

Учителя

Ферраро, учитель и библиотекарь. За усердие в чтении вручил Лиле и Элене почетной грамоте

Оливьеро, учительница. Первая догадывается о выдающихся способностях Лилы и Элены. Когда десятилетняя Лиля пишет рассказ «Голубая фея» и Элена показывает его учительнице, та от огорчения, что девочка по настоянию родителей не будет продолжать учебу, не находит для нее ни слова похвалы, перестает следить за ее успехами и отдает все внимание Элене. Тяжело заболевает и вскоре после того, как Элена оканчивает университет, умирает

Джераче, преподаватель лицея

Галиани, профессор, преподавательница лицея. Блестяще образованна и умна. Состоит в коммунистической партии. Быстро выделяет Элену из массы других учеников, приносит ей книги и защищает от придирок преподавателя богословия. Приглашает ее к себе домой на вечеринку и знакомит со своими детьми. Охлаждение в ее отношении к Элене наступает после того, как Нино ради Лилы бросает ее дочь, Надю

Прочие лица

Джино, сын аптекаря. Первый парень, с которым встречается Элена

Нелла Инкардо, родственница учительницы Оливьеро. Живет в Барано-д'Искья, на лето сдает часть дома семейству Сарраторе. Здесь Элена проводит свои первые каникулы на море

Армандо, сын профессора Галиани, студент медицинского факультета

Надя, дочь профессора Галиани, студентка, в прошлом помолвленная с Нино. Влюбившись в Лилу, Нино с Искьи пишет Наде письмо, в котором объявляет об их разрыве

Бруно Соккаво, друг Нино Сарраторе, сын богатого предпринимателя из Сан-Джованни-а-Тедуччо. Принимает Лилу на работу на семейный колбасный завод

Франко Мари, студент, встречался с Эленой в первые годы ее учебы в университете

Молодость

1

В последний раз я видела Лилу пять лет назад, зимой 2005-го. Ранним утром мы прогуливались вдоль шоссе и, как это случалось все чаще, испытывали взаимную неловкость. Помню, говорила я одна, а она напевала что-то себе под нос и здоровалась с прохожими, которые ей не отвечали. Если изредка она ко мне и обращалась, то с какими-то странными, невпопад и не к месту, восклицаниями. За минувшие годы произошло немало плохого, даже ужасного, и, чтобы снова сблизиться, нам следовало бы во многом признаться друг другу. Но у меня не было сил искать нужные слова, а у нее силы, может, и были, но не было желания – или она не видела в том никакой пользы.

Несмотря ни на что, я очень любила ее и каждый раз, приезжая в Неаполь, старалась с ней повидаться, хотя, по правде говоря, немного боялась этих встреч. Она сильно изменилась. Старость не пощадила нас обеих. Я вела ожесточенную борьбу с лишним весом, а она совсем усохла – кожа да кости. Свои короткие, совершенно седые волосы она стригла сама – не потому, что ей так нравилось, а потому, что было плевать, как она выглядит. Чертами лица она все больше походила на отца. Она нервно, чуть ли не визгливо, смеялась,

говорила слишком громко и непрерывно размахивала руками, будто надвое рубила ими дома, улицу, прохожих и меня.

Мы проходили мимо начальной школы, когда нас обогнал незнакомый парень и на бегу крикнул Лиле, что на клумбе возле церкви нашли труп женщины. Мы поспешили в сторону парка, и Лила, работая локтями, втащила меня в толпу зевак, запрудивших всю улицу. Женщина, невероятно толстая, одетая в старомодный темно-зеленый непромокаемый плащ, лежала на боку. Лила узнала ее сразу, а я нет. Это была подруга нашего детства Джильола Спаньюоло, бывшая жена Микеле Солары.

Я не видела ее несколько десятков лет. От ее прежней красоты не осталось и следа: лицо было одутловатым, ноги распухшими. Волосы, некогда каштановые, а теперь выкрашенные в огненно-красный цвет, такие же длинные, как в детстве, но теперь совсем редкие, рассыпались по рыхлой земле. Одна нога была в поношенной туфле на низком каблуке, вторая – в сером шерстяном носке с дырой на большом пальце. Туфля валялась в метре от тела, как будто, перед тем как упасть, Джильола пыталась ногой оттолкнуть от себя боль или страх. Я заплакала, и Лила смерила меня недовольным взглядом.

Мы сели на скамейку неподалеку и стали молча ждать, когда Джильолу унесут. Что с ней случилось, отчего она умерла – мы не имели об этом понятия. Потом мы пошли к Лиле, в старую тесную квартиру ее родителей, где теперь она жила с сыном Рино. Мы вспоминали умершую подругу, и Лила наговорила о ней всяких гадостей, осуждая ее за тщеславие и подлость. Но на сей раз уже мне не удавалось сосредоточиться на ее словах: перед глазами все еще стояло мертвое лицо, разметавшиеся по земле длинные волосы, белесые проплешины на затылке. Сколько наших ровесниц уже ушли из жизни, исчезли с лица земли, унесенные болезнями или горем; их души не выдержали, истерлись о несчастья, как о наждачную бумагу. А сколько умерли насильственной смертью! Мы долго сидели на кухне, не решаясь подняться и убрать со стола, но потом снова вышли на улицу.

Под лучами зимнего солнца наш старый квартал выглядел тихим и спокойным. В отличие от нас он совсем не изменился. Все те же старые серые дома, тот же двор, в котором мы когда-то играли, то же шоссе, уходящее в черную пасть туннеля, и то же насилие – все здесь осталось прежним. Зато пейзаж вокруг стало не узнать. Исчезли подернутые зеленоватой ряской пруды, исчезла консервная фабрика. На их месте символом лучезарного будущего, которое вот-

вот наступит и в которое на самом деле никто никогда не верил, возвышались стеклянные небоскребы. За этими переменами я наблюдала издали – изредка с любопытством, чаще с безразличием. В детстве мне казалось, что Неаполь за пределами нашего квартала полон чудес. Помню, как много десятков лет назад меня поразило строительство небоскреба на площади возле центрального вокзала, – он постепенно, этаж за этажом, рос у нас на глазах и по сравнению с нашей железнодорожной станцией казался мне громадой. Каждый раз, проходя по piazzetta Garibaldi, я восхищенно ахала и восклицала: «Нет, вы только посмотрите, вот это высота!» – обращаясь к Лиле, Кармен, Паскуале, Аде или Антонио, моим друзьям тех времен, когда мы вместе ходили к морю или прогуливались неподалеку от богатых кварталов. Наверное, там, на самом верху, откуда открывается вид на весь город, живут ангелы, говорила я себе. Как мне хотелось подняться туда, на вершину. Это был наш небоскреб, хоть и стоял он за пределами квартала. Потом стройку заморозили. Позднее, когда я уже училась в Пизе и возвращалась домой только на каникулы, мне наконец перестал мерещиться в нем символ общественного обновления; я поняла, что это всего лишь очередная убыточная стройка.

В те годы я начала осознавать, что остальной Неаполь не слишком отличается от нашего квартала: повсюду, расползаясь все шире, царила одна и та же бедность. Возвращаясь домой, я каждый раз с удивлением обнаруживала, что еще что-то пришло в упадок: город буквально крошился, будто слепленный из песочного теста, он не выдерживал смены времен года, жары, холода и особенно гроз. То наводнением затопило вокзал на piazzetta Garibaldi, то обрушилась Галерея напротив Археологического музея, то случился оползень и в большинстве районов отключили электричество. В памяти остались полные опасностей темные улицы, все более беспорядочное движение на дорогах, разбитые мостовые, огромные лужи. Канализационные трубы не справлялись с нагрузкой, и на улицы выплескивались потоки воды с нечистотами и мусором, кишасшие всеми мыслимыми и немыслимыми паразитами, с холмов, застроенных хлипкими дешевыми многоэтажками, они стекали в море или уходили в почву, размывая нижнюю часть города. Люди умирали от антисанитарии, коррупции и произвола, но продолжали послушно голосовать за политиков, превративших их жизнь в кошмар. Сойдя с поезда, я ловила себя на мысли, что с опаской передвигаюсь по тем местам, где выросла, и стараюсь изъясняться исключительно на диалекте, как бы давая окружающим понять: «Я своя, не причиняйте мне зла!»

Когда я закончила учебу и написала повесть, которая неожиданно для меня через несколько месяцев стала книгой, во мне окрепло убеждение, что

породивший меня мир катится в пропасть. В Пизе и Милане мне было хорошо, временами я бывала там даже счастлива, зато каждый приезд в родной город оборачивался пыткой. Меня не покидал страх, что случится что-нибудь такое, из-за чего я навсегда застряну здесь и потеряю все, чего успела добиться. Я боялась, что больше не увижусь с Пьетро, за которого собиралась замуж, что больше никогда не попаду в чудный мир издательства и не встречу с прекрасной Аделе – моей будущей свекровью, матерью, какой у меня никогда не было. Я и раньше всегда находила Неаполь слишком плотно населенным: от пьяцца Гарибальди до виа Форчелла, Дукеска, Лавинайо и Реттифило постоянно было не протолкнуться. В конце 1960-х улицы, как мне казалось, сделались еще многолюднее, а прохожие – еще грубее и агрессивнее. Однажды утром я решила пройти до виа Меццоканноне, где когда-то работала продавщицей в книжном магазине. Мне хотелось взглянуть на место, где я вкалывала за гроши, а главное – посмотреть на университет, учиться в котором мне так и не довелось, и сравнить его с пизанской Высшей нормальной школой. Может, думала я, случайно столкнусь с Армандо и Надей – детьми профессора Галиани, – и у меня будет повод похвастаться своими достижениями. Но то, что я увидела в университете, наполнило меня чувством, близким к ужасу. Студенты, толпившиеся во дворе и сновавшие по коридорам, были уроженцами Неаполя, его окрестностей или других южных областей, одни – хорошо одетые, шумные и самоуверенные, другие – неотесанные и забитые. Тесные аудитории, возле деканата – длинная скандалящая очередь. Трое или четверо парней сцепились прямо у меня на глазах, ни с того ни с сего, будто им для драки не нужен был даже повод: просто посмотрели друг на друга – и посыпались взаимные оскорбления и затрещины; ненависть, доходящая до жажды крови, изливалась из них на диалекте, который даже я понимала не до конца. Я поспешила уйти, словно почувствовала угрозу – и это в месте, которое, по моим представлениям, должно было быть совершенно безопасным, потому что там обитало только добро.

Короче говоря, ситуация ухудшалась с каждым годом. Во время затяжных ливней почву в городе так размывало, что рухнул целый дом – повалился на бок, как человек, опершийся на прогнивший подлокотник кресла. Было много погибших и раненых. Казалось, город вынашивал в своих недрах злобу, которая никак не могла вырваться наружу и разъедала его изнутри или вспучивалась на поверхности ядовитыми фурункулами, отравляя детей, взрослых, стариков, жителей соседних городов, американцев с базы НАТО, туристов всех национальностей и самих неаполитанцев. Как можно было уцелеть здесь, среди опасностей и беспорядков – на окраине или в центре, на холмах или у подножия Везувия? Сан-Джованни-а-Тедуччо и дорога туда произвели на меня

страшное впечатление. Мне стало жутко от зрелища завода, где работала Лиля, да и от самой Лилы, новой Лилы, которая жила в нищете с маленьким ребенком и делила кров с Энцо, хотя и не спала с ним. Она рассказала мне тогда, что Энцо интересуется компьютерами и изучает их, а она ему помогает. В памяти сохранился ее голос, силившийся перекричать и перечеркнуть собой Сан-Джованни, колбасы, заводскую вонь, условия, в которых она жила и работала. С наигранной небрежностью, словно между делом, она упоминала государственный кибернетический центр в Милане, говорила о том, что в Советском Союзе уже используют ЭВМ для исследований в общественных науках, и уверяла, что скоро то же самое будет и в Неаполе. «В Милане – пожалуй, – думала я, – а уж в Советском Союзе и подавно, но здесь никаких центров точно не будет. Это все твои сумасшедшие выдумки, ты вечно носилась с чем-нибудь таким, а теперь еще втягиваешь в это несчастного влюбленного Энцо. Тебе надо не фантазировать, а бежать отсюда. Навсегда, подальше от этой жизни, которой мы жили с детства. Осеть в каком-нибудь приличном месте, где и вправду возможна нормальная жизнь». Я верила в это, потому и сбежала. К сожалению, десятилетия спустя мне пришлось признать, что я ошибалась: бежать было некуда. Все это были звенья одной цепи, различавшиеся разве что размерами: наш квартал – наш город – Италия – Европа – наша планета. Теперь-то я понимаю, что болен был не наш квартал и не Неаполь, а весь земной шар, вся Вселенная, все вселенные, сколько ни есть их на свете. И сделать тут ничего нельзя, разве что только упрятать голову поглубже в песок.

Все это я высказала Лиле тем зимним вечером 2005 года. Моя речь звучала пафосно, но в то же время виновато. До меня наконец дошло то, что она поняла еще в детстве, не покидая Неаполя. Следовало ей в этом сознаться, но мне было стыдно: не хотелось выглядеть перед ней озлобленной ворчливой старухой – я знала, что она не выносит нытиков. Она кривовато усмехнулась, показав стесанные с годами зубы, и сказала:

– Ладно, хватит о пустяках. Что ты задумала? Собралась писать о нас? Обо мне?

– Нет.

– Не ври.

– Если б и захотела, это слишком сложно.

– Но ты об этом думала. Да и сейчас думаешь.

– Бывает.

– Брось эту затею, Лен?. Оставь меня в покое. Всех нас оставь. Мы должны бесследно исчезнуть, ничего другого мы не заслуживаем: ни Джильола, ни я, никто.

– Неправда.

Она недовольно скривилась, впилась в меня взглядом и сквозь зубы процедила:

– Ну ладно, раз тебе немоготу, пиши. О Джильоле можешь писать что хочешь. А обо мне не смей! Дай слово, что не будешь!

– Я ни о ком ничего писать не собираюсь. В том числе о тебе.

– Смотри, я проверю.

– Да ну?

– Запросто! Взломаю твой компьютер, найду файл, прочитаю и сотру.

– Да ладно тебе.

– Думаешь, не сумею?

– Сумеешь, сумеешь. Не сомневаюсь. Но и я умею защищаться.

– Только не от меня, – зловеще, как раньше, рассмеялась она.

Я никогда не забуду эти слова – последние, которые я слышала от нее. «Только не от меня». Вот уже несколько недель я самозабвенно пишу, не отвлекаясь на то, чтобы перечитать написанное. «Если Лида жива, – мечтательно думаю я, попивая кофе и глядя, как волны реки По разбиваются об опоры моста Принцессы Изабеллы, – она точно не сдержится. Эта старая психопатка влезет в мой компьютер, прочтет текст, разозлится, что я ее не послушала, начнет его исправлять и дописывать и больше не вспомнит о том, что хотела исчезнуть». Ополаскиваю чашку, возвращаюсь за стол и пишу дальше – про ту холодную миланскую весну, про тот день в книжном магазине больше чем сорокалетней давности, когда мужчина в очках с толстыми стеклами при всех распекал меня и мою книгу, а я, дрожа и смущаясь, пыталась хоть что-то пролепетать в свое оправдание. А потом внезапно поднялся заросший растрепанной черной бородой Нино Сарраторе, которого я не сразу узнала, и, не стесняясь в выражениях, поставил моего обидчика на место. Как долго я не видела его: года четыре, может, пять? Помню, я похолодела от волнения, но мне казалось, я вся горю.

Как только Нино договорил, мужчина сдержанным жестом попросил ответного слова. Ясно было, что он обиделся, но я была слишком взволнована, чтобы догадаться, что именно его оскорбило. Разумеется, я понимала, что выступление Нино – резкое, на грани грубости – увело спор из литературной области в политику. И все же в тот момент я не придавала этому особого значения: я корила себя за то, что не смогла сдержать удар и выставила себя перед ученой публикой полной бестолочью. Вообще-то я умела за себя постоять! Когда-то в лицее, чтобы быть не хуже других, я подражала профессору Галиани, заимствовала ее интонацию и выражения. В Пизе, чтобы выстоять против враждебно настроенных сокурсников, этого багажа оказалось недостаточно. Франко, Пьетро и другие блестящие студенты изъяснялись цветисто, писали с нарочитой сложностью, а в споре щеголяли безупречно выстроенной аргументацией – ничем подобным Галиани никогда не занималась. Но и там я научилась вести себя, как все. У меня получалось, и я поверила, что наконец овладела словом до такой степени, чтобы в любых обстоятельствах не поддаваться эмоциям, сохранять самообладание и здравомыслие. При помощи изящных, взвешенных и пространных рассуждений я завораживала слушателей, отбивая у них всякое желание мне возражать. Но в тот вечер все пошло не так. Сначала Аделе и ее друзья с их хвалебными речами, потом этот мужчина в очках с толстыми стеклами... Я разнервничалась, снова почувствовала себя девчонкой-зубрилой с южным диалектом, выскочкой из нищего квартала, дочерью швейцара, непостижимым образом попавшей в культурное общество и возомнившей себя молодым дарованием. Вся моя вера в себя испарилась, а с ней и все мое красноречие. А тут еще Нино! С его появлением я окончательно

потеряла контроль над собой и, пока слушала его прекрасное выступление в мою защиту, забыла и то, что умела. Выходцы из одной среды, мы оба много трудились, чтобы научиться складно говорить. Нино виртуозно владел литературным итальянским, с легкостью обращая его против своего оппонента, но, когда считал нужным, намеренно отказывался от изысканных оборотов и позволял себе игривую небрежность, на фоне которой профессорская речь мужчины в очках с толстыми стеклами казалась старомодной и оттого нелепой. Я увидела, что мужчина собирается ответить, и очень испугалась: если он и раньше ругал мою книгу, что же он скажет теперь, когда его разозлили?!

Вопреки всем опасениям, мой обидчик забыл про повесть и заговорил совсем о другом. Он прицепился к некоторым выражениям, которые Нино употреблял как бы невзначай, но повторял их снова и снова: «высокомерие аристократов», «антиавторитарная литература». Я поняла, что нашего оппонента задела именно политическая сторона спора. Ему не нравились эти слова, и, воспроизводя их, он с глубокого баса неожиданно срывался на саркастический фальцет («значит, гордость за свои знания сегодня называется высокомерием аристократа, а литература с каких-то пор превратилась в антиавторитарную?»). Он попытался обыграть термин «авторитаризм»: «Нужно благодарить Бога, – сказал он, – за эту преграду, за стену, защищающую нас от дурно воспитанной молодежи, болтающей невесть что и повторяющей глупости, исходящие от врагов государства». Он долго говорил на эту тему, обращаясь исключительно к публике, а не к Нино и не ко мне. В конце речи он посмотрел сначала на пожилого критика, сидевшего рядом со мной, а потом на Аделе – возможно, его единственного в тот вечер подлинного адресата. «Я ничего не имею против молодежи, – заключил он, – я против взрослых ученых, которые в своих интересах готовы поддержать любую модную глупость». На этом он наконец умолк и начал пробираться к выходу, негромко, но четко выговаривая: «Извините», «Позвольте», «Благодарю».

Зрители вставали с мест, чтобы дать ему пройти, глядя на него недовольно, но в то же время почтительно. Только тогда мне стало ясно, что это был влиятельный человек, настолько влиятельный, что даже Аделе на его хмурое прощание вежливо ответила: «Спасибо, до свидания!» Каково же было всеобщее изумление, когда Нино с вызывающей издевкой в голосе окликнул его, назвав «профессором» и тем самым показав, что знает, с кем имеет дело: «Эй, профессор, куда же вы? Не убегайте!» Он резво кинулся ему наперерез на своих длинных ногах, встал лицом к лицу и произнес несколько слов, которые я со своего места плохо расслышала и не совсем поняла, но которые, должно быть, жгли, как стальной прут под палящим солнцем. Мужчина выслушал Нино с

каменным лицом, после чего жестом попросил его уйти с дороги и направился к выходу.

3

Я поднялась с места, не понимая, что происходит: мне не верилось, что Нино действительно здесь, в Милане, в этом зале. А между тем он не торопясь, с улыбкой на лице, шел в мою сторону. Мы пожали друг другу руки: его была горячей-горячей, моя – ледяной; обменялись дежурными фразами о том, как рады видеть друг друга после стольких лет. Тут до меня стало доходить, что самая страшная часть вечера позади, и настроение у меня немного поднялось, хотя волнение не совсем улеглось. Я познакомила Нино с критиком, который великодушно похвалил мою книгу, представив его как старого друга, с которым училась в лицее в Неаполе. Несмотря на то что и ему досталось от Нино, тот был любезен, благожелательно отозвался о его выступлении против «профессора» и одобрительно закивал, услышав о Неаполе, – в общем, вел себя с ним как с образцовым студентом, стараясь его поддержать. Нино рассказал, что уже несколько лет живет в Милане, изучает экономическую географию и принадлежит (тут он улыбнулся) к низшей ступени академического сообщества – иначе говоря, занимает должность ассистента. Говорил он с улыбкой и не злился, как раньше, на весь мир – будто скинул с себя тяжелые доспехи, в школьные годы вызывавшие мое восхищение, и предпочел облачение поизящнее, в котором легче побеждать. Я не без радости отметила, что у него нет обручального кольца.

Тем временем ко мне подошла одна из подруг Аделе с просьбой подписать книгу: это был мой первый автограф, и меня охватило сильное возбуждение. Мне не хотелось упустить Нино, но в то же время я понимала, что и без того выставила себя в его глазах забитой дурочкой – не усугублять же ситуацию. Поэтому я оставила его с пожилым профессором Тарратано и увлеченно занялась своими читательницами. Я надеялась быстро освободиться, но не тут-то было: книжки были новехонькие и так приятно пахли типографской краской (не чета вонючим обтрепанным томикам, которые мы с Лилой брали в муниципальной библиотеке), что я боялась в спешке испортить их своей подписью. В итоге я подолгу раздумывала над посвящениями и выводила буквы идеальным почерком, каким не писала со времен школьных прописей, так медленно, что читательницы, выстроившиеся в очередь за автографом,

начали проявлять нетерпение. Я старалась писать от всего сердца, а сердце колотилось в страхе, что Нино вот-вот уйдет.

Но он не уходил. К ним с Тарратано присоединилась Аделе, и Нино уважительно, но абсолютно свободно беседовал с ней. Я смотрела на этого молодого мужчину и видела все того же блестящего лицеиста, когда-то точно так же беседовавшего с профессором Галиани в коридоре. Куда труднее – и болезненнее – было сознавать, что передо мной студент, с которым мы гуляли на Искье, любовник моей замужней подруги, прятавшийся в туалете магазина на пьядца Мартири, и отец Дженнаро – мальчика, которого он даже ни разу не видел. Конечно, история с Лилой тогда выбила его из колеи, но, как я ясно видела теперь, ненадолго. Как бы сильно он ее ни любил, какой бы глубокий след она ни оставила в его сердце, – все осталось в прошлом. Нино снова стал собой, и я была этому рада. И хотя первой у меня мелькнула мысль: «Надо рассказать Лиле, что я его видела и у него все хорошо», следом за ней явилась другая: «Нет, не буду ей ничего говорить!»

Когда я закончила с посвящениями, зал опустел. Аделе с нежностью взяла меня за руку, похвалила за то, как я рассказывала о книге и как ответила на «отвратительный выпад» – именно так она выразилась – мужчины в очках с толстыми стеклами. Я прекрасно понимала, что это неправда, и стала отмахиваться, но она обратилась к Нино и Тарратано за подтверждением ее слов: разумеется, оба рассыпались передо мной в комплиментах. Нино, серьезно глядя на меня, еще и добавил: «Это вы ее в лицо не видели! Эта девушка уже тогда поражала умом, начитанностью, смелостью и красотой!» Я залилась краской, а он начал весело рассказывать о моей стычке с преподавателем богословия. Аделе засмеялась и сказала: «Мы всей семьей сразу заметили таланты Элены». Потом она объявила, что заказала для нас столик в заведении неподалеку. Я смущенно забормотала, что устала и не хочу есть, а поскольку мы с Нино давно не виделись, с радостью немного прогулялась бы с ним перед сном. Я знала, что с моей стороны это невежливо, ведь ужин устраивали специально в мою честь, ну и в благодарность Тарратано за поддержку моей книги, но не смогла сдержаться. Аделе посмотрела на меня, хитро улыбнулась и сказала, что мой друг тоже приглашен. «А еще, – заговорщически, будто пытаюсь компенсировать причиненное неудобство, произнесла она, – у меня есть для тебя приятный сюрприз». Я с тревогой посмотрела на Нино: вдруг он откажется. Он сказал, что не хочет быть лишним, но потом взглянул на часы и согласился пойти с нами.

Мы вышли из книжного магазина. Аделе тактично увела Тарратано вперед, мы с Нино шагали следом. Вскоре я поняла, что не знаю, о чем с ним говорить, и боюсь ляпнуть что-нибудь не то. Сам он не молчал: еще раз похвалил мою книгу, с большой симпатией отозвался об Айрота, назвав их «самой культурной из влиятельных семей Италии», поздравил меня с предстоящим замужеством (Аделе ему рассказала) и удивил, сообщив, что читал книгу Пьетро о вакхических ритуалах. Но с особым уважением он говорил о главе семьи, профессоре Гвидо Айроте, по его мнению, «человеке исключительном». Меня немного расстроило, что он уже знает о моей скорой свадьбе, а все восторги по поводу моей повести служили ему лишь предисловием к гораздо более многословному восхвалению семьи Пьетро и его книги. Я перебила его, спросив, чем он занимается, но он ответил расплывчато, упомянув только, что скоро у него выходит небольшая книжка, скорее скучная, не написать которую он не мог. Я поинтересовалась, трудно ли ему пришлось в первое время в Милане. Он коротко подтвердил, что проблем было много, так как с юга он приехал без гроша в кармане.

– Так ты что, вернулась в Неаполь? – вдруг спросил он.

– Пока да.

– В наш квартал?

– Да.

– А я окончательно порвал с отцом. И ни с кем из родных давно не вижусь.

– Жаль.

– Так лучше. Плохо только, что ничего не слыхать о Лине.

На миг мне показалось, что я ошиблась, что Лида не исчезала из его жизни и что в книжный он пришел не ради меня, а ради того, чтобы узнать о ней. Но потом я сказала себе: «Если бы он действительно хотел узнать что-то о Лиле, нашел бы

способ – за столько-то лет». Торопливо, желая подчеркнуть, что тема закрыта, я сказала:

– Она бросила мужа и теперь живет с другим.

– Кто у нее родился, мальчик или девочка?

– Мальчик.

Он недовольно скривился и сказал:

– Лина смелая, даже чересчур. Но она совершенно не умеет мириться с реальностью. Она не способна принимать других такими, какие они есть. Да и себя тоже. Любить ее слишком тяжело.

– В каком смысле?

– Она не знает, что такое преданность.

– А ты не преувеличиваешь?

– Нет, она действительно как-то неправильно устроена: и мозг, и все остальное. Даже в сексе.

Это «даже в сексе» поразило меня больше всего. Значит, Нино был не так уж счастлив с Лилой? В том числе и в постели, в чем он, вогнав меня в смущение, только что сам признался? Я взглянула на темные силуэты Аделе и ее друга. Смущение переросло в тревогу: я чувствовала, что это «даже в сексе» было только вступлением к еще более откровенному разговору. Как-то раз, много лет назад, со мной вскоре после свадьбы разоткровенничался Стефано: он рассказывал о проблемах с Лилой, но ни словом не упоминал о сексе, – и ни один мужчина квартала не стал бы делиться с посторонними женщинами такими подробностями. Невозможно даже представить себе, чтобы Паскуале заговорил со мной о сексуальности Ады или чтобы Антонио стал обсуждать с Кармен или Джильолой мою сексуальность. Мужчины говорили об этом исключительно между собой, позволяя себе страшные непристойности – особенно если влюбленность в предмет беседы осталась в прошлом, – но чтобы мужчина

затронул эту тему в разговоре с женщиной, такого не бывало. Но Нино – новый Нино – не видел ничего странного в том, чтобы обсуждать со мной половые отношения с моей подругой. Я окончательно растерялась. «Об этом я тоже никогда не расскажу Лиле», – думала я. «Что было, то прошло, – ответила я Нино с напускной легкостью, – не будем о грустном. Вернемся к тебе: над чем ты сейчас работаешь? Какие перспективы в университете? Где живешь? Ты один?» Я буквально засыпала его вопросами, – он, должно быть, сразу меня раскусил, иронично улыбнулся и начал было отвечать, но мы как раз дошли до ресторана.

5

Аделе рассадил нас за столом: меня рядом с Нино, напротив Тарратано; сама она села рядом с Тарратано напротив Нино. Мы сделали заказ и заговорили о мужчине в очках с толстыми стеклами. Это был профессор итальянской литературы, постоянный сотрудник «Коррьере делла сера», христианский демократ. На сей раз Аделе и ее друг не стали сдерживаться. За пределами книжного магазина они забыли об ограничениях, накладываемых этикетом, и принялись поносить этого человека и расхваливать Нино, который выступил против него и разбил его наголову. Особенно им понравилась фраза, брошенная ему Нино на пороге; в отличие от меня они отлично ее расслышали. Они попросили Нино в точности вспомнить, что он ему сказал; тот сначала отнекивался, утверждая, что уже не помнит, но в конце концов – то ли воспроизведя свои слова, то ли сложив их заново, – все-таки произнес нечто вроде: «В своем стремлении защитить власть вы готовы пожертвовать демократией». С этого момента они, все больше увлекаясь, разговаривали втроем, обсуждая секретные службы, Грецию, пытки, которым подвергались заключенные в этой стране, Вьетнам, неожиданную вспышку студенческих волнений не только в Италии, но и во всей Европе и во всем мире, и опубликованную в «Понте» статью профессора Айроты об условиях обучения в университетах, под каждым словом которой Нино, по его словам, готов был подписаться.

– Я скажу дочери, что вы на его стороне, – сказала Аделе, – а то Мариароза была против.

– Мариароза увлечена тем, чему в нашем мире не бывать.

– Верно замечено! Именно так!

Я ничего не знала о статье будущего свекра. Мне было очень неловко сидеть и молча их слушать. Сначала экзамены, потом диплом, потом книга и поездка в издательство – ни на что другое времени у меня не оставалось. О том, что происходило вокруг, я имела весьма поверхностное представление: слышала краем уха о студенческих манифестациях, столкновениях с полицией, раненых и арестованных, но не придавала этому значения. Университет я уже окончила, беспорядков не застала, и знала о них в основном из сетований Пьетро, называвшего эти события не иначе как «пизанским безумием». В общем, все это в моем представлении имело очертания довольно расплывчатые, зато для остальных моих сотрапезников картина была яснее ясного, особенно для Нино. Он сидел рядом, мой рукав чуть касался его рукава, и от этого прикосновения меня охватывал трепет. Он все так же любил цифры: приводил данные о растущем числе студентов, реальной вместимости зданий, о том, сколько часов руководство университетов, вместо того чтобы заниматься наукой и преподаванием, просиживает в парламенте и советах директоров или дает дорогостоящие консультации и проводит частные исследования. Аделе согласно кивала, ее друг тоже, иногда они что-то дополняли, упоминая людей, имена которых ни о чем мне не говорили. Я чувствовала себя лишней. Моя книга больше никого не интересовала, а свекровь, казалось, забыла об обещанном сюрпризе. Я шепнула, что на минутку выйду; Аделе, не глядя в мою сторону, кивнула, Нино продолжил увлеченно говорить. Тарратано, очевидно заметив, что я заскучала, тихо сказал:

– Возвращайтесь поскорее. Мне очень хочется услышать ваше мнение.

– У меня нет своего мнения, – ответила я, улыбнувшись.

– У писательницы оно всегда найдется, – улыбнулся он в ответ.

– Может, я и не писательница вовсе.

– Да вы что? Писательница, и очень хорошая.

Я пошла в туалет. Как всегда, мне было достаточно услышать Нино, чтобы понять, как сильно я отстала. «Надо исправляться, – думала я. – Как только я могла докатиться до такого?» Конечно, я могла поиграть словами, сделав вид,

что интересуюсь этим вопросом и хоть сколько-то в нем разбираюсь. Но дальше так нельзя: я выучила слишком много бесполезного и слишком мало нужного. Стоило мне расстаться с Франко, как я тут же потеряла даже тот малый интерес к окружающей действительности, который он успел мне привить. Отношения с Пьетро в этом плане ничего не меняли: его эти проблемы совершенно не интересовали. Насколько же все-таки Пьетро отличался от своего отца, от сестры и матери. А особенно – от Нино. С Пьетро я бы никогда не написала свою повесть, которую он до сих пор и в руки-то взять побаивается, – как же, такое нарушение академического канона. Или я преувеличиваю? Может, я сама во всем виновата? Виновата моя ограниченность? Если я за что-то берусь, то концентрируюсь на чем-то одном, а об остальном напрочь забываю. Но довольно, теперь все будет по-другому. Скорее бы закончился этот скучный вечер! Я утащу Нино с собой, мы будем гулять всю ночь, и я спрошу его, какие книги надо прочитать. Какие фильмы посмотреть, какую музыку послушать. А потом возьму его под руку и скажу, что мне холодно... Бессвязные мысли, обрывочные мечты – за ними я прятала свое волнение. На самом деле я думала об одном: «Быть может, это мой единственный шанс... Вдруг завтра он уедет и больше я его никогда не увижу».

Я со злостью посмотрела на себя в зеркало. Лицо было уставшее, на лбу – прыщи, под глазами – синяки, предвестники месячных. «Я уродина, коротышка, и грудь у меня слишком большая. Давно пора признать, что я никогда ему не нравилась. Не случайно же он выбрал Лилу». Выбрал – и что с того? «Она действительно как-то неправильно устроена, даже в сексе», – сказал он. Зря я свернула разговор. Надо было проявить интерес, дать ему развить мысль. Если он вернется к этой теме, я рискну. Усмехнусь и спрошу: «Что значит «неправильно устроена в сексе»? Расскажи, а то вдруг мне тоже нужно исправиться?» Я с отвращением вспомнила то, что произошло между мной и его отцом на пляже Маронти. Вспомнила секс с Франко на его узкой кровати в студенческой комнатке в Пизе. Вдруг я тоже что-то делала не так, и он это заметил, но тактично промолчал? А вдруг сегодня вечером я окажусь в постели с Нино, снова окажусь не на высоте, он подумает: «Эта тоже неправильно устроена, не лучше Лины» – и станет обсуждать меня со своими подружками из университета, а то и с Мариарозой?

Я понимала, что он сказал гадость, и знала, что не должна была ему этого спускать. «От этого неправильного секса, – должна была сказать я, – того самого, о котором ты сейчас говоришь такое, родился твой сын, малыш Дженнаро, очень умный мальчик. Как ты можешь так рассуждать? И вообще, кому судить, кто правильно устроен, а кто неправильно. Лила ради тебя

поломала свою жизнь!» Я решила: как только избавлюсь от Аделе с другом и Нино пойдет провожать меня в гостиницу, сама вернусь к тому разговору и все ему выскажу.

Я вернулась в зал и обнаружила, что за время моего отсутствия произошли кое-какие перемены. Свекровь увидела меня, замахала мне рукой и весело крикнула: «А вот и сюрприз! Прибыл наконец-то!» Сюрпризом оказался Пьетро: он сидел с ней рядом.

6

Мой жених подскочил ко мне и заключил меня в объятия. Я никогда ничего не рассказывала ему про Нино. Мельком упоминала Антонио, намекала на отношения с Франко, о которых, впрочем, в нашей студенческой среде и так все знали. Но имени Нино я даже не называла. Это была моя больная тема, и мысли о ней причиняли мне грусть и стыд. Говорить о нем значило признать, что я всегда любила только его, любила так, как никогда не полюблю Пьетро. К тому же для полноты картины пришлось бы рассказать о Лиле, об Иске, а то и о том, что эпизод секса со зрелым мужчиной из моей книги – описание реального опыта на Маронти, следствие решения, которое приняла тогда убитая горем девчонка и которое теперь, по прошествии лет, казалось ей такой мерзостью. В общем, лучше было держать свои тайны при себе. Зато, если бы Пьетро все знал, он сразу догадался бы, почему я совсем не обрадовалась, увидев его.

Он сидел во главе стола, между матерью и Нино, жадно ел бифштекс, пил вино, но в то же время с тревогой поглядывал на меня, понимая, что настроение у меня плохое. Конечно, он чувствовал себя виноватым за то, что не смог приехать раньше и пропустил такое важное в моей жизни событие. Наверняка он боялся, что я обижусь, решив, что он меня не любит, раз оставил одну среди чужих людей. Вряд ли я сумела бы объяснить ему: мое молчание и мрачное выражение лица вызваны не тем, что он приехал поздно, а тем, что он вообще приехал, вклинившись между мной и Нино.

Из-за Нино я чувствовала себя особенно несчастной. Он сидел рядом, но не говорил мне ни слова. Казалось, приезд Пьетро его обрадовал. Он подливал ему вина, угостил сигаретой, поднес огня. Они дружно выпускали тонкие струйки

дыма, говорили о машинах, обсуждали, как тяжело добираться от Пизы до Милана. Меня поразило, насколько они были разные: Нино – сухощавый, лохматый, с пронзительным голосом; Пьетро – коренастый, высоколобый, со смешной шапкой спутанных волос и пухлыми щеками со следами порезов от бритвы. Кажется, оба были рады знакомству: я глазам своим не верила, глядя на Пьетро, вечно замкнутого и погруженного в свои мысли. Нино старался его разговорить и искренне интересовался его исследованиями («Я читал где-то твою статью, ты советуешь вместо вина пить молоко с медом и вообще выступаешь против любых форм дурмана»), а мой жених, вообще-то избегавший подобных разговоров, охотно поддерживал беседу и дружески поправлял Нино, если тот что-то понимал не так. Но, как только Пьетро разговорился, вмешалась Аделе.

– Довольно болтать, – сказала она, – пришло время сюрприза для Элены.

Я удивленно посмотрела на нее. Неужели сюрпризы еще не кончились? Разве мало того, что Пьетро несколько часов, не останавливаясь, гнал машину, чтобы поспеть к ужину в мою честь? Я с любопытством посмотрела на своего жениха: он хмурился, и я знала, что это значит. Так он делал, когда вынужден был прилюдно хвалить себя. Он сообщил мне почти шепотом, что назначен штатным профессором, самым молодым во Флоренции. И конечно, добавил, что это произошло каким-то чудом. Он никогда не кичился своими достижениями, и я почти ничего не знала о том, как его уважали в академических кругах; он ни словом не обмолвился о труднейшем конкурсе, который выдержал. Он сообщил мне эту новость запросто, даже с некоторым пренебрежением, как будто для него самого она ничего не значила, а сказать пришлось только из-за матери. На самом деле она означала очень многое: настоящее признание, престиж, стабильный заработок, а кроме того, шанс покинуть Пизу, сбежать из той политической и культурной среды, которая почему-то раздражала его в последние месяцы. А главное – она значила, что будущей осенью, самое позднее – зимой мы поженимся и я уеду из Неаполя. Никто ни слова не сказал об этом, но поздравляли все не только Пьетро, но и меня. Поздравил нас и Нино, но сразу после посмотрел на часы, отпустил довольно ехидное замечание об университетской карьере и объявил, что ему, к большому сожалению, пора.

Мы встали из-за стола. Я не знала, что мне делать, и тщетно ловила его взгляд; от боли у меня стеснило грудь. Праздник закончился, оставив после себя потерянные возможности и несбывшиеся желания. Мы вышли на улицу, и мне показалось, что он сейчас даст мне номер своего телефона или адрес. Но он

лишь пожал мне руку и пожелал всего самого лучшего. У меня возникло ощущение, что он намеренно избегает смотреть мне в глаза. На прощанье я ему улыбнулась и махнула рукой в воздухе, изобразив, что держу карандаш. «Ты знаешь, где я живу, напиши мне, пожалуйста», – говорил мой жест. Но он уже повернулся ко мне спиной.

7

Я поблагодарила Аделе и ее друга за все, что они сделали для меня и моей книги. Оба долго и искренне хвалили Нино, обращаясь ко мне, будто это благодаря мне он был таким умным и симпатичным. Пьетро ничего не сказал, только раздраженно отмахнулся, когда мать попросила его возвращаться скорее: они остановились у Мариарозы. «Не волнуйся, не нужно меня провожать, – сказала я ему, – иди с мамой». Но никто не принял мои слова всерьез; они и мысли не допускали, что мне и правда хотелось побыть одной.

По дороге я вела себя невыносимо. Жаловалась, что мне не нравится Флоренция, хотя это было не так. Жаловалась, что не желаю больше писать и мечтаю преподавать, хотя это было не так. Жаловалась, что устала и хочу спать, хотя это было не так. Мало того: когда Пьетро ни с того ни с сего заявил, что ему пора познакомиться с моими родителями, я воскликнула: «Ты с ума сошел! Даже не думай! Ты им не понравишься, а они не понравятся тебе». После этого он испуганно спросил меня: «Ты что, больше не хочешь за меня замуж?»

Я чуть не ответила: «Нет, не хочу», – но вовремя сдержалась, зная, что и это не так. «Прости, – сказала я тихо, – я просто расстроена. Конечно же, я хочу за тебя замуж». Я взяла его за руку, сплела его пальцы со своими. Он был умный, невероятно образованный и хороший человек. Я любила его и не хотела причинить ему боль. Тем не менее в тот момент, когда я держала его за руку, когда утверждала, что хочу за него замуж, я ясно сознавала, что, не появившись он в ресторане, я сделала бы все, чтобы заполучить Нино.

Мне было трудно признаться себе в этом. По отношению к Пьетро я поступала ужасно, он этого не заслужил... И все же я сделала бы это, и, возможно, даже не мучилась бы угрызениями совести. Я нашла бы способ заманить Нино к себе – я слишком давно и хорошо его знала, еще с начальной школы и лицея, с Искьи и

пьяцца Мартири. Меня не остановили бы даже его колкие слова о Лиле. Я сделала бы это, а Пьетро ни в чем не призналась бы. Возможно, много лет спустя, на старости лет, я рассказала бы об этом Лиле – когда, как мне думалось, эта история уже ничего не будет значить ни для нее, ни для меня, когда время, как обычно, все расставит по своим местам. Наша история с Нино продлилась бы всего одну ночь, а наутро он покинул бы меня. Хотя я и знала его всю жизнь, но понимала: я его придумала. Он был плодом моих детских фантазий, не имевших ничего общего с реальностью, тем более – с моим будущим. Пьетро, напротив, составлял часть моего настоящего, он был осязаем и конкретен, как межевой камень. Он устанавливал границу совершенно новых для меня земель – земель благоразумия, жизни по правилам, принятым в его семье и наполняющим смысл все существование. Здесь властвовали высокие идеалы, культ репутации, принципы. Ничего на территории Айрота не происходило просто так. Брак, например, был вкладом в борьбу за светское общество. Родители Пьетро состояли только в светском браке, и Пьетро (вопреки, а может, благодаря глубочайшим познаниям в религиозной культуре) ни в коем случае не согласился бы венчаться в церкви и предпочел бы отказаться от меня. То же касалось крестин. Пьетро был некрещеный, Мариароза – тоже, потому и наши будущие дети не должны проходить обряд крещения. И так во всем: казалось, им управляет некая высшая сила, пусть не божественного, а семейного происхождения, и эта сила внушает ему абсолютную уверенность в том, что он всегда на стороне правды и справедливости. Что касается секса, то тут я пребывала в полном неведении, а он был предельно сдержан. Он достаточно знал о моих отношениях с Франко Мари, чтобы понимать, что я не девственница, но ни разу не позволил себе ни одного грязного намека, обвинения, колкости или смешка. Я полагала, что до меня у него никого не было: я не представляла его себе с проституткой и даже в мыслях не допускала, чтобы он обсуждал девушек с другими парнями. Он терпеть не мог сальные шуточки, ненавидел пустую болтовню, восторженные ахи и охи, вечеринки, любую бессмысленную трату времени. Имея очень приличное состояние, он – в отличие от родителей и сестры – вел жизнь скорее аскетическую. При этом обладал обостренным чувством долга: никогда не отступил бы от взятых передо мной обязательств, никогда меня не предал бы.

Поэтому я не хотела его терять. Несмотря на то что мне, с моей неотесанностью и моим происхождением, даже после университета было до него далеко, я, честно говоря, не очень понимала, как буду жить во всей этой геометрии. Он вселял в меня уверенность, что я сумею избежать и раболепия отца, и грубости матери. Поэтому я переборола себя, отбросила мысли о Нино, взяла Пьетро под руку и проговорила: «Давай поженимся как можно скорее, я хочу уехать из дома,

хочу получить права, хочу путешествовать, хочу, чтобы у меня был телефон, телевизор – у меня же никогда ничего не было!» Он повеселел, засмеялся и пообещал дать мне все, чего я бессвязно просила. Мы почти дошли до отеля, когда он остановился и хриплым голосом сказал: «Можно я сегодня останусь у тебя?» Это был последний сюрприз того вечера. Я смотрела на него в растерянности: я столько раз склоняла его заняться любовью, а он всегда выворачивался. Но лечь с ним в постель здесь, в Милане, в отеле, после неприятной дискуссии в книжном магазине, после Нино, я не могла. «Мы столько ждали, – ответила я, – подождем еще немного». Мы остановились на углу, в темноте, я поцеловала его, а потом смотрела с порога отеля, как он уходит по корсо Гарибальди, то и дело оборачиваясь и застенчиво махая мне рукой. Его неровная шаркающая походка и лохматая шапка волос наполнили меня умилением.

8

С того дня жизнь закрутилась в сумасшедшем ритме: месяцы стремительно сменяли один другой, и не было ни дня, в который не случилось бы чего-то хорошего или плохого. Я вернулась в Неаполь, переполненная воспоминаниями о встрече с Нино, не получившей продолжения. Иногда меня одолевало желание побегать к Лиле, дожидаться ее с работы и рассказать о том, что виделась с Нино. Но, поразмыслив, я приходила к выводу, что своим рассказом только причиню ей боль, и отказывалась от этой идеи. Лила шла по жизни своей дорогой, Нино – своей, а меня ждали неотложные дела. Вернувшись из Милана, я в тот же вечер сказала родителям, что скоро приедет Пьетро, что, вероятно, в следующем году мы поженимся и я уеду жить во Флоренцию.

В ответ – ни радости, ни одобрения. Видимо, они уже привыкли к тому, что я уезжаю и возвращаюсь когда хочу и все больше отдаляюсь от семьи, не желая вникать в их проблемы. Только отец проявил некоторую нервозность, что меня не удивило: он всегда волновался, когда сталкивался с ситуацией, к которой не был готов.

– А ему обязательно к нам приезжать, этому твоему профессору? – недовольно спросил он.

– Как же ему не приезжать? – рассердилась мать. – Как он попросит у тебя руки Ленуччи, если не приедет?

Я подумала, что она восприняла новость равнодушнее, чем отец, как обычно продемонстрировав решительность и хладнокровие. Только когда отец отправился спать, а Элиза, Пеппе и Джанни стелили себе в столовой, мне пришлось признать, что я ошиблась. Мать впиалась в меня взглядом покрасневших глаз и очень тихо, но яростно, с каким-то присвистом, прошипела: «Для тебя мы пустое место, ты сообщаешь нам новости в последний момент, синьорина возомнила себя черт знает кем, потому что она выучилась, потому что пишет книжки, потому что выходит замуж за профессора, только вот, дорогуша, из этого живота ты вышла, из этого теста ты сделана, поэтому не заносись и не забывай никогда, что раз уж ты такая умная, я, выносившая тебя вот здесь, внутри, такая же умная, а то и умнее, так что будь у меня возможности, как у тебя, я бы тоже все это заполучила, ясно тебе?» Потом, не сбавляя тона, она принялась упрекать меня в том, что якобы по моей вине, из-за того что я уехала и думала только о себе, мои братья и сестра учатся из рук вон плохо, и тут же попросила, точнее, потребовала денег на приличное платье для Элизы и на то, чтобы хоть немного привести дом в порядок, раз уж они вынуждены принимать моего жениха.

По поводу плохой учебы братьев и сестры я промолчала, но денег дала сразу, хотя и знала, что она не собирается ничего покупать в дом; она то и дело вытягивала из меня деньги, не брезгуя никакими предложениями. Она не говорила об этом прямо, но я понимала: ей невыносима мысль, что я держу деньги в банке, а не приношу ей, как раньше, когда водила на пляж дочек продавщицы из магазина канцтоваров или работала в книжном на виа Меццоканноне. «Возможно, – думала я, – она ведет себя так, будто мои деньги принадлежат ей, чтобы показать, что я и сама принадлежу и всегда, даже после замужества, буду ее собственностью?»

Я вела себя спокойно и пообещала, что в качестве компенсации установлю в квартире телефон и куплю им телевизор. Она посмотрела на меня недоверчиво, и на лице у нее вдруг промелькнуло восхищение, никак не вязавшееся с тем, что она мне только что наговорила.

– Телефон и телевизор? Здесь, у нас дома?

– Конечно.

– И ты будешь за них платить?

– Да.

– Всегда? И после свадьбы тоже?

– Да.

– А профессор знает, что у тебя нет ни гроша в приданое? И на свадьбу денег у нас тоже нет?

– Знает. Да и не будет никакой свадьбы.

Она опешила. В глазах снова вспыхнули искры ярости.

– Как это – никакой свадьбы? Скажи ему, пусть он за все заплатит!

– Нет. Нам это не нужно.

Мать рассвирепела. Она начала засыпать меня самыми неприятными вопросами, надеясь спровоцировать на грубость и заводясь все сильнее.

– Помнишь свадьбу Лилы? Помнишь, какой праздник они устроили?

– Да.

– Ты во сто раз лучше ее и хочешь лишиться себя праздника?

– Да.

Так продолжалось, пока я не решила, что не имеет смысла тянуть с главным и проще снести все истерики разом.

– Мам, – сказала я, – не только свадьбы не будет. Венчаться в церкви мы тоже не будем. Поженимся в муниципалитете.

Вот тут началось: будто все окна и двери выбило шквальным ветром. Мать не отличалась особой религиозностью, но, услышав такое, совершенно потеряла над собой контроль; покраснела, придвинулась ко мне и завизжала, осыпая меня страшными оскорблениями. Она вопила, что брак ничего не стоит, если его не признал священник. Кричала, что, если я не выйду замуж перед Богом, шлюха я, а никакая не жена. Забыв про свою хромую ногу, она чуть ли не бегом бросилась будить отца, братьев и сестру, чтобы сообщить им, что случилось то, чего она всегда так боялась: от слишком долгой учебы я тронулась рассудком. Жизнь дает мне все шансы, а я позволяю обходиться с собой как с потаскухой, и как ей теперь показаться на люди – она от стыда сгорит за свою безбожницу дочь.

Растерянный отец, как был, в одних трусах, и братья с сестрой тщетно пытались ее успокоить; они так и не поняли, какие еще невзгоды обрушатся на них по моей вине. Мать вопила, что выгонит меня из дома, пока я не навлекла позор на всю семью и не сделала ее матерью содержанки вроде Лилы и Ады. Бить меня она не решилась, но руками размахивала так, будто я – всего лишь тень себя, а меня настоящую она крепко держит и лупит удар за ударом. Вскоре она утихла – спасибо Элизе, которая подошла ко мне и негромко спросила:

– Ты сама хочешь выходить замуж в муниципалитете или твой жених так решил?

Я объяснила ей, но так, чтобы слышали все, что для меня церковь давно ничего не значит и мне все равно, заключать брак в муниципалитете или перед алтарем, а для моего жениха очень важно вступить именно в светский брак, потому что он глубоко разбирается в вопросах религии, ничего против нее не имеет, но считает, что религия разрушает себя тем, что вмешивается в общественные дела. «Короче говоря, если мы не поженимся в муниципалитете, – заключила я, – он вообще на мне не женится».

Тут отец, вначале занявший было сторону матери, прекратил ей подпевать и спросил:

– Не женится?

– Нет.

– А как же тогда? Бросит тебя, что ли?

– Мы уедем во Флоренцию и будем жить неженатыми.

Эта новость прозвучала для матери убийственно. Она словно обезумела и выпалила, что возьмет нож и собственными руками меня зарежет. Отец нервно взъерошил волосы и сказал:

– А ну замолчи! Разоралась... Дай лучше подумать. Все знают, что можно обвенчаться в церкви, устроить роскошную свадьбу, и все равно ничем хорошим это не кончится.

Разумеется, он намекал на скандальную историю с Лилой, толки о которой по-прежнему будоражили весь квартал. До матери наконец начало доходить, что священник не гарантия, да и вообще, о каких гарантиях можно рассуждать в том жутком мире, в котором мы живем. Она перестала орать, решив положиться на отца. Впрочем, она продолжала ходить взад-вперед, хромая, потряхивая головой и ругая моего будущего мужа. «Кто он, этот профессор? Коммунист? Коммунист и в то же время профессор? Да какой это на хрен профессор? – снова завелась она. – Разве профессор может быть таким придурком?» – «Да не придурок он, – вступился отец. – Он человек ученый, ему лучше знать, что творят священники. Потому он и собрался расписываться в муниципалитете. Конечно, ты права, многие коммунисты так делают. И да, получается, что наша дочь как будто бы и не замужем вовсе. Но я бы все равно доверился этому университетскому профессору: он любит Ленуччу и не позволит, чтобы ее считали потаскухой. Я ему верю, хоть мы и не знакомы: он важный человек, любая девушка мечтает о таком муже, но даже если бы мы ему и не верили, поверим муниципалитету. Я же там работаю и могу тебя заверить: брак, заключенный в муниципалитете, значит не меньше церковного, а то и больше».

Так продолжалось несколько часов. Братья и сестра в какой-то момент сдались и ушли спать. Я осталась успокаивать родителей, убеждая их принять то, что было для меня важным знаком вхождения в мир Пьетро. Я чувствовала себя очень смелой, намного смелее Лилы. Если мне доведется снова встретиться с Нино, думала я, у меня будет полное право сказать ему: «Видишь, куда меня завел тот давний спор с преподавателем богословия. Любое решение имеет свою историю: многие события нашей жизни до поры до времени таятся в тени, но потом все же выходят на свет». Впрочем, тут я преувеличила: на деле все было проще. К тому дню Бог из моего детства уже лет десять как ослаб и был, подобно больному старику, отправлен в дальний угол: я не испытывала никакой потребности в освящении моего брака. Главное было уехать из Неаполя.

Ужас, пережитый моими родными при мысли о светском браке, конечно, не исчез за одну ночь, но померк. На следующий день мать вела себя со мной так, будто вещи, которых она касалась, – кофейник, чашка с молоком, сахарница, свежий батон – попадали ей в руки с одной-единственной целью: вызвать искушение запустить ими мне в физиономию. Но она хотя бы больше не орала. Я решила не обращать на нее внимания, рано утром вышла из дома и отправилась договариваться об установке телефона. С этим я быстро разобралась, потом прогулялась по Порт-Альба и заглянула в книжные магазины. Я хотела сделать интеллектуальный рывок, чтобы больше не молчать как рыба, как тогда, в Милане, и обо всем иметь свое суждение. Во многом наугад я набрала книг и журналов, потратив довольно много денег. Под впечатлением от слов Нино, которые не шли у меня из головы, я, поколебавшись, все-таки взяла «Три очерка по теории сексуальности» (в те времена я почти ничего не знала о Фрейде, а то немного, что знала, нагоняло на меня тоску) и еще пару книг о сексе. Я надеялась, что разберусь со всей этой премудростью – справлялась же я раньше с уроками, экзаменами, дипломом, газетами, которые давала мне профессор Галиани, и марксистскими текстами, которыми увлекался Франко. Я хотела изучить современный мир. Трудно сказать, что к тому моменту было в моем багаже. Разговоры с Паскуале и Нино. Немного интереса к кубинскому и латиноамериканскому вопросу. Я знала о беспросветной нищете нашего квартала и проигранной борьбе с ней Лилы. Я понимала, что школа отвергла моих братьев и сестру потому, что им не хватило моего упорства и они не были готовы на жертвы ради учебы. Долгие беседы с Франко и случайные разговоры с Мариарозой, слившиеся в какое-то туманное воспоминание («мир в корне несправедлив, и его надо менять, но мирное сосуществование американского империализма и сталинской бюрократии, как и реформистская политика европейских, особенно итальянских рабочих партий, ведут к удержанию пролетариата в подчиненном выжидательном положении, тем самым подливая масла в огонь революции; если мировой застой победит, если победят социал-демократы, капитализм утвердится на века, а рабочий класс падет жертвой навязанной обществу потребительской модели»). Эти идеи жили и работали внутри меня, временами даже по-настоящему меня волновали. Но гораздо сильнее было мое старое желание преуспеть во всем, из-за чего (по крайней мере, поначалу) я и решила во что бы то ни стало срочно разобраться в этих вопросах. Я долго верила, что всему можно выучиться, в том числе развить в

себе интерес к политике.

Расплачиваясь, я заметила на полке свою повесть и поспешила отвести взгляд. Каждый раз, когда я видела на витрине среди других недавно изданных книг свою, я испытывала смесь гордости и страха, удовольствие, перераставшее в беспокойство. Конечно, моя повесть родилась случайно, за двадцать дней, я над ней не корпела, просто стремилась с ее помощью избавиться от депрессии. Я ведь знала, что такое настоящая литература, много читала классику и потому, когда писала свою книгу, мне и в голову не приходило, что я создаю нечто стоящее. Однако меня увлек сам процесс поиска формы. И вот она здесь, эта книга, вмещающая меня самое. На полке стояла я сама, и мысль о том, что я смотрю на себя, заставляла сердце неистово биться в груди. Для меня не только в моей повести, но и в книгах вообще было нечто будоражащее, обнажавшее сердце, заставлявшее его трепетать и рваться наружу, как было в тот день, когда Лила предложила нам вместе написать книгу. Писать настоящие книги выпало мне. Но этого ли я хотела? Правда ли я хотела писать, но писать осознанно и лучше прежнего? Изучать, что было когда-то и что происходит сейчас, разбираться, как все устроено в жизни, снова и снова узнавать все о мире, чтобы научиться создавать живые образы, такие, каких не создать никому, кроме меня, даже Лиле, получи она возможность писать?

Я вышла из магазина, остановилась на пьядца Кавур. День был прекрасный, виа Фория казалась непривычно чистой и выглядела солидно, несмотря на скрывшуюся под ремонтной сеткой Галерею. Самое время вспомнить былое прилежание. Я достала недавно купленный блокнот, в который собиралась записывать свои мысли, наблюдения, важные факты, как это делают настоящие писатели. Прочла от начала до конца «Униту», записала то, чего не знала. Нашла в «Понте» статью отца Пьетро, с любопытством просмотрела ее, но она не показалась мне такой интересной, как утверждал Нино, более того, как минимум две вещи в ней неприятно меня удивили: во-первых, Гвидо Айрота пользовался еще более закоснелым, чем тот мужчина в очках с толстыми стеклами, профессорским языком, во-вторых, в его описании студенток («эта новая толпа, по всей видимости, не из зажиточных семей, синьорины в скромных нарядах, со скромным образованием, которые надеются собственным старанием получить в жизни что-то кроме бесконечной домашней рутины») я узнала себя – уж не знаю, действительно он имел в виду меня или это было случайное совпадение. Это я тоже записала в блокнот (Кто я для семейства Айрота? Вишенка на торте их широких взглядов на жизнь?). Без всякого удовольствия, скорее в раздражении, я принялась листать «Коррьере делла сера».

Помню, воздух был теплый, нос щекотал запах газетной краски, смешанный с запахом горячей пиццы, – не знаю, правда так пахло или я это потом додумала. Я перелистывала страницу за страницей, просматривала заголовки – и у меня вдруг аж дыхание перехватило. Я увидела свою фотографию, обрамленную четырьмя колонками плотного текста. Фото на фоне туннеля – границы нашего квартала. Заголовок гласил: «Пикантные воспоминания честолубивой девушки: литературный дебют Элены Греко». Рядом значилось имя автора – того самого мужчины в очках с толстыми стеклами.

10

Я читала и покрывалась холодным потом: казалось, вот-вот потеряю сознание. Он воспользовался моей книгой как доказательством того, что в последнее десятилетие во всех областях экономической, социальной и культурной жизни – от фабрик до учреждений, университетов, издательств и кино – наблюдается полная деградация, виновата в которой испорченная и не признающая ценностей молодежь. Автор приводил заковыченные цитаты из моей повести, иллюстрирующие, на его взгляд, дурное воспитание поколения, яркой представительницей которого была я. Оканчивалась статья вердиктом: «Девушка, стремящаяся спрятать недостаток таланта за пикантными страничками заурядных пошлостей».

Я расплакалась. Это был самый жесткий отзыв из всех, что я читала с момента выхода книги, и появился он не в какой-нибудь малотиражной газетенке, а в самом популярном в Италии издании. Особенно невыносимо было смотреть на свое улыбающееся лицо на фоне настолько жестокого текста. До дома я шла пешком, по пути благоразумно избавившись от «Коррьере». Я боялась, что мать увидит рецензию, вклеит ее в свой альбом и будет тыкать меня в нее носом каждый раз, когда я посмею с ней поспорить.

Дома меня ждал накрытый стол. Отец был на работе, мать пошла за чем-то к соседке, братья и сестра уже поели. Я жевала пасту с картошкой, нервно перелистывая свою книгу, выхватывая по строчке то тут, то там. Может, я и правда бездарность, думала я. Может, меня опубликовали, только чтобы сделать одолжение Аделе. И правда, какие бесцветные выражения, какие банальные мысли! Как небрежно расставлены запятые, сколько лишних! Никогда больше

ничего не стану писать! Пока я мучилась отвращением к еде и собственной книге, на кухню вошла Элиза с листком бумаги в руке. Ей его дала синьора Спаньюоло, по телефону которой, с ее любезного позволения, со мной связывались в случае срочной надобности. Листок гласил, что мне звонили трое: Джина Медотти, возглавлявшая пресс-бюро издательства, Аделе и Пьетро.

При виде трех имен, написанных кривоватым почерком синьоры Спаньюоло, во мне окончательно оформилась еще мгновение назад смутная мысль. Мерзкие слова мужчины в очках с толстыми стеклами быстро разошлись повсюду. Статью уже прочел Пьетро, его семья, руководство издательства. Быть может, она дошла уже и до Нино. Быть может, попалась на глаза моим преподавателям в Пизе. Вне всякого сомнения, привлекла внимание профессора Галиани и ее детей. И – как знать? – возможно, даже Лила ее уже прочитала. У меня из глаз покатались слезы.

– Что с тобой, Лену? – испуганно спросила Элиза.

– Я плохо себя чувствую.

– Заварить тебе ромашку?

– Да.

Но выпить настой я не успела. В дверь постучали: это была Роза Спаньюоло. Немного запыхавшаяся от подъема по лестнице, она радостно сообщила, что меня снова разыскивает жених, ждет на телефоне. «Какой красивый голос! Какое красивое северное произношение!» Принеся тысячу извинений за беспокойство, я побежала к телефону. Пьетро успокаивал меня, говорил, что мать просила меня не огорчаться; главное, что о книге заговорили. В ответ я, к немалому удивлению синьоры Спаньюоло, считавшей меня тихоней, чуть ли не закричала: «Что мне с того, что о ней заговорили, если говорят такое?!» Он снова призвал меня сохранять спокойствие и добавил: «Завтра выйдет статья в “Уните”». – «Было бы лучше, если бы обо мне вообще забыли», – ледяным голосом сказала я и положила трубку.

Ночью я не сомкнула глаз. Утром не удержалась – побежала покупать «Униту» и пролистала ее в спешке, прямо у киоска, находившегося возле начальной школы. Снова увидела свою фотографию, ту же, что и в «Коррьере», но на сей

раз она располагалась не в центре текста, а сверху, рядом с заголовком: «Молодые бунтари и старые реакционеры: к разговору о повести Элены Греко». Я никогда раньше не слышала имени автора статьи, но писал он, бесспорно, хорошо, и слова его пролились на мою душу бальзамом. Он однозначно хвалил мою повесть и высмеивал известного профессора в очках с толстыми стеклами. Домой я вернулась ободренной и даже в хорошем расположении духа. Я снова полистала свою книгу, и на сей раз мне показалось, что она хорошо выстроена и написана. Когда мать с кислым выражением лица спросила: «Что, счастье привалило?» – я, ни слова не говоря, оставила на столе газету.

Вечером снова пришла синьора Спаньюоло: мне опять звонили. На мое смущение и извинения она ответила, что счастлива быть полезной такой девушке, как я, и наговорила мне кучу комплиментов. «Джильоле не повезло, – вздыхала она, пока мы шли по лестнице, – отец взял ее работать в кондитерскую Солара в тринадцать лет; хорошо еще, что она вышла за Микеле, а то пришлось бы ей вкалывать там всю жизнь». Она открыла дверь и проводила меня по коридору к телефону, висевшему на стене. Я заметила, что она поставила рядом стул, чтобы мне было удобнее разговаривать: с каким же почтением относились здесь к тем, кто получил образование. Учеба расценивалась как возможность для самых способных детей избежать изнуряющего труда. «Как мне объяснить этой женщине, – думала я, – что я с шести лет нахожусь в плену у букв и цифр, что мое настроение зависит от того, насколько удачно они складываются, а случается это редко, да и радость от успеха длится недолго – один час, один вечер, максимум – ночь?»

– Прочитала? – спросила Аделе.

– Да.

– Довольна?

– Да.

– У меня еще одна хорошая новость: книга начала продаваться. Если так дальше пойдет, мы сможем ее переиздать.

– Как это?

– А вот так! Наш друг из «Коррьере» намеревался уничтожить нас, а вместо этого оказал нам услугу. Пока, Елена, наслаждайся успехом!

11

Книга действительно неплохо продавалась, в этом я смогла убедиться сразу – как минимум, по участившимся звонкам Джины, которая сообщала то об очередной рецензии, вышедшей в таком-то журнале, то о приглашении выступить в книжном магазине или культурном центре. «Книга расходуется, доктор Греко, поздравляю!» – непременно говорила она на прощанье. Я благодарила ее, но сама не особенно радовалась. Отзывы в газетах казались мне поверхностными, они ограничивались либо восторгами, по примеру «Униты», либо оголтелой критикой, как в «Коррьере». И хотя Джина то и дело повторяла, что отрицательные отзывы помогают продажам, мне они причиняли боль, поэтому каждый раз, когда я читала такой, с трепетом ждала очередной хвалебной рецензии, чтобы сравнить счет. Зато я перестала прятать от матери статьи злопыхателей и стала отдавать ей все – и хорошие, и плохие. Она, насупившись, пыталась читать по слогам, но ей ни разу не удалось одолеть больше четырех-пяти строк: либо она тут же находила повод за что-нибудь ко мне прицепиться, либо ее одолевала скука и она отправлялась клеивать статью в альбом. Это стало ее манией: она мечтала собрать целый альбом публикаций и сокрушалась, когда мне нечего было добавить к ее коллекции, – боялась, что останутся пустые страницы.

Самой болезненной для меня оказалась рецензия, вышедшая в «Риме». Она практически копировала отзыв из «Коррьере», излагая его разве что более цветистым языком, и с маниакальным упорством сводила все к финальной мысли: женщины окончательно потеряли стыд, и, чтобы понять это, достаточно прочесть похабную повесть Элены Греко – перепевы романа «Здравствуй, грусть!»[1 - «Здравствуй, грусть!» – роман французской писательницы Франсуазы Саган, вышедший в 1954 г. – Здесь и далее прим. пер.], который и сам по себе слишком груб. Но ранило меня не содержание статьи, а имя автора. Это был отец Нино, Донато Сарраторе. Я вспомнила, как в детстве меня поразила новость о том, что этот человек издал сборник своих стихов; узнав, что он пишет для газеты, я воображала его в сиянии славы. Зачем он написал эту рецензию? Решил отомстить, узнав себя в развратнике – отце семейства, воспользовавшемся слабостью главной героини? Мне захотелось позвонить ему

и обложить последними словами на диалекте. Меня остановила только мысль о Нино: я подумала вдруг, что мы с ним очень похожи. Это открытие показалось мне крайне важным. Мы оба отказались от образцов, заданных семьей: я всю жизнь старалась как можно дальше сбежать от матери, он окончательно сжег мосты, соединяющие его с отцом. Обнаружив это сходство, я успокоилась, и мой гнев понемногу перекипел.

Я не учла, что «Рим» в нашем квартале читали больше, чем другие газеты. Вспомнить об этом пришлось уже вечером. Когда я проходила мимо аптеки, на пороге появился Джино, сын аптекаря, накачанный молодой человек, увлекавшийся тяжелой атлетикой; он носил белый врачебный халат, хотя еще не получил диплома. Джино окликнул меня, помахивая газетой, и среди прочего страшно серьезным тоном (видимо, потому, что с недавних пор занимал какое-то место в местном отделении Итальянского социального движения) спросил: «Видела, что о тебе пишут?» Чтобы не доставлять ему удовольствия, я сказала: «Да мало ли что обо мне пишут!» – и пошла дальше, кивнув ему на прощанье. Он смутился, пробормотал что-то, а потом злорадно прокричал мне вслед: «Надо обязательно прочитать эту твою книгу, кажется, она очень интересная».

Но это было только начало. На следующий день на улице меня догнал Микеле Солара и настойчиво стал предлагать выпить кофе. Мы отправились в их бар, и, пока Джильола принимала у меня заказ (молча, не скрывая недовольства моим присутствием, а может, и присутствием мужа), он сказал: «Лену, Джино дал мне почитать статью: говорят, ты написала повесть, которую запрещено читать детям до восемнадцати лет. Кто бы мог подумать! Этому ты научилась в Пизе? Этому учат в университете? Поверить не могу! У вас с Линой что, договор? Она делает дурные вещи, а ты их описываешь? Так ведь? Признавайся!» Я покраснела, не стала дожидаться кофе, попрощалась с Джильолой и ушла. «Ты что, обиделась? Вернись, я же пошутил!» – весело крикнул мне в спину Микеле.

На очереди была встреча с Кармен Пелузо. Мать послала меня в новую лавку Карраччи, потому что масло там было дешевле. Дело было вечером, посетителей не было, Кармен рассыпалась в комплиментах: «Какая ты молодец, для меня честь быть твоей подругой! Это единственное, с чем мне в жизни повезло!» Она сказала, что наткнулась на статью Сарраторе случайно: поставщик забыл выпуск «Рима» в магазине. Как мне показалось, она была искренне возмущена и назвала Донато мерзавцем. Ее брат, Паскуале, показывал ей статью в «Уните», совсем другую, очень-очень хорошую, с прекрасной фотографией: «Ты просто красавица! И все у тебя получается!» От моей матери она знала, что я скоро

выхожу замуж за университетского профессора и уезжаю во Флоренцию, в собственный дом, как настоящая синьора. Она тоже собиралась замуж, за рабочего с автозаправки, но когда – сама не знала, потому что у них не было денег. Затем, без всякого перехода, начала жаловаться на Аду. С тех пор как Ада заняла место Лилы рядом со Стефано, жизнь Кармен с каждым днем делалась невыносимей. Ада хозяйничала в лавках, кричала на Кармен, обвиняла ее в воровстве, командовала и следила за каждым ее шагом. Кармен так все это надоело, что она собиралась уволиться и перейти работать на бензоколонку к будущему мужу.

Я слушала ее внимательно и вспоминала, как мы с Антонио собирались пожениться и работать на автозаправке. Я рассказала ей об этом, чтобы немного развлечь, но вместо этого она помрачнела и проворчала: «Конечно, как же! Представляю: ты – и на бензоколонке. Как же тебе повезло, что ты выбралась из этой дыры!» Потом она забормотала что-то совсем уже несвязное: «Как же все несправедливо, Лену, слишком несправедливо, надо с этим что-то делать, невозможно так больше, сил моих нет...» Она достала из ящика мою книгу: обложка была вся мятая и грязная. В первый раз я увидела экземпляр своей книги в руках человека из нашего квартала: меня поразило, что первые страницы были замурзанными и растрепанными, а остальные – белыми, плотно прилегающими одна к другой. «Я читаю понемногу, по вечерам и когда нет покупателей. Но пока дошла только до тридцать второй страницы: у меня мало времени, все приходится делать одной. Карраччи держат меня здесь взаперти с шести утра до девяти вечера. Ну что, – вдруг с ухмылкой спросила она меня, – скоро там уже откровенные сцены? Долго еще читать?»

Откровенные сцены.

Не успела я далеко уйти, как натолкнулась на Аду с Марией – ее дочерью от Стефано – на руках. После всего, что рассказала Кармен, мне было трудно быть с ней приветливой, но я постаралась. Похвалила девочку, ее красивое платье и изящные сережки. Но Ада меня не слушала. Она заговорила об Антонио, сказала, что они переписываются, что слухи о его женитьбе и детях – неправда, что из-за меня он разучился и думать, и любить. Потом она накинулась на мою книгу. «Я ее не читала, но слышала, что такие книги дома держать нельзя, – злобно проговорила она. – Представь себе, моя дочка подрастет и найдет такую книжку, что я ей скажу? Ты уж извини, но я ее не куплю. Впрочем, – добавила она, – я за тебя рада, хоть на жизнь себе заработаешь. Пока!»

После этих встреч во мне поселилось опасение, что книга действительно продается только за счет деликатных сцен, о которых упоминалось и во враждебно настроенных, и в благосклонных ко мне изданиях. Помню, я даже подумала, что Нино заговорил со мной о сексуальности Лилы только потому, что был уверен: раз уж я пишу на эти темы, то и обсуждать их со мной можно без проблем. От этих мыслей мне снова захотелось повидаться с подругой. «Кто знает, – говорила я себе, – вдруг Лиля тоже раздобыла книгу, как Кармен». Я представила себе, как вечером, вернувшись с завода, она сидит с ребенком в комнате (Энцо, как обычно, в другой) и, несмотря на усталость, внимательно читает мою повесть: рот прикрыт, лоб наморщен, как всегда, когда она сосредоточена. Что она думает по поводу книги? Тоже сократила бы ее до одних откровенных сцен? А может, она и не читала вовсе: вряд ли у нее были деньги на книгу, надо бы мне подарить ее ей. Мне понравилась эта идея, но потом я от нее отказалась. Мнением Лилы я все еще дорожила больше, нежели чьим бы то ни было, но навеститься к ней не решалась. У меня не было лишнего времени, нужно было столько всего узнать, столько прочитать. Кроме того, из головы не шла сцена нашей последней встречи – как она стояла в заводском дворе у костра, в котором горели страницы «Голубой феи», – вот оно, прощание с остатками детства, подтверждение того, что наши пути разошлись. Скажет еще: «Некогда мне читать твою писанину! Видишь, как я живу?» И я продолжала жить своей жизнью.

Между тем книга продавалась все лучше – что бы ни было тому причиной. Однажды мне позвонила Аделе и, как обычно, тепло и чуть насмешливо сказала: «Если так дальше пойдет, ты разбогатеешь и бросишь бедняка Пьетро». Потом она передала трубку мужу: «Гвидо хочет с тобой поговорить». Я разволновалась: мы с профессором Айротой редко общались, и при нем я всегда чувствовала себя неловко. Но отец Пьетро был очень доброжелателен, поздравил меня с успехом, посмеялся над стыдливостью моих злопыхателей, сказал о затянувшемся в Италии Средневековье и похвалил меня за вклад в модернизацию страны – примерно в таких выражениях. О моей повести он умолчал, ему и без того забот хватало. Но мне было приятно, что он захотел меня поддержать, выразить свое уважение.

Мариароза тоже отнеслась ко мне тепло и очень меня хвалила. Вначале она заговорила о самой книге, но вскоре сменила тему и пригласила меня в университет, принять участие в том, что она называла неудержимым течением событий. «Приезжай прямо завтра! – настаивала она. – Ты видела, что происходит во Франции?!» Я знала, что происходит, целыми днями просиживала у старого радиоприемника голубого цвета: мать держала его на кухне, поэтому приемник был весь в жирных пятнах. «Да, просто потрясающе! – сказала я. – Нантер, баррикады в Латинском квартале...» Но она явно знала больше и увлекалась этим сильнее меня. Они с друзьями планировали отправиться в Париж, и она предложила мне поехать вместе с ними на автомобиле. Это было так заманчиво, что я сказала: «Хорошо, я подумаю». Сесть в машину в Милане, проехать по Франции, оказаться в Париже, в центре восстания и зверств полиции, окунуться с головой в раскаленную магму тех месяцев, продолжить путешествие, начатое несколько лет назад с Франко. И как было бы здорово поехать именно с Мариарозой – среди всех моих знакомых не было второй такой девушки – настолько модной, без предрассудков, разбирающейся в мировой политике почти на равных с мужчинами. Я восхищалась ею: разве другая смогла бы так все бросить и уехать? Кумиры того времени – Руди Дучке[2 - Лидер западногерманского студенческого движения 1960-х.], Даниэль Кон-Бендит[3 - Один из лидеров студенческих волнений во Франции в мае 1968 г.] – бесстрашно противостояли насилию со стороны реакционных сил, как в фильмах о войне, где героические роли, как всегда, доставались мужчинам. Равняться на них девчонкам было трудно – они могли лишь любить их, внимать их идеям и переживать за них. Мне пришло в голову, что среди друзей Мариарозы, собирающихся во Францию, мог оказаться и Нино – они ведь были знакомы. Подумать только: увидеть его, погрузиться с головой в это приключение, вместе с ним подвергать себя опасностям... На улице давно стемнело, на кухне было тихо, родители спали, братья все еще гуляли на улице, Элиза мылась, закрывшись в ванной. Уеду отсюда, завтра же утром уеду!

Я уехала, но не в Париж. Сразу после выборов, отметивших тот беспокойный год, Джина отправила меня по городам Италии продвигать книгу. Начала я с Флоренции. Одна дама-профессор, дружившая с приятелем семьи Айрота, пригласила меня выступить на педагогическом факультете перед тремя десятками студентов и студенток – в то время распространилась практика

устраивать такие встречи вместо обычных лекций. С первого взгляда меня поразило, что некоторые девушки выглядели даже хуже описанных моим будущим свекром в «Понте»: плохо одетые, неумело покрашенные, сумбурно и слишком эмоционально излагающие свои мысли, недовольные системой экзаменов и отношением к себе преподавателей. По подсказке профессора я с подчеркнутым энтузиазмом высказалась по поводу студенческих манифестаций, особенно во Франции. Я делилась тем, о чем успела прочитать, и нравилась сама себе. Я чувствовала, что говорю уверенно и ясно, что девушки восхищаются мной, моей манерой говорить, моими знаниями, моим умением касаться сложных мировых проблем и складывать их в единую картину. Одновременно я заметила, что стараюсь не упоминать о своей книге. Мне было неловко говорить о ней: я боялась, что слушатели отреагируют на нее так же, как девчонки из нашего квартала, поэтому я предпочитала рассуждать о прочитанном в «Тетрадах Пьячентини»[4 - Итальянский левый журнал по проблемам политики и культуры, издавался в 1962–1984 гг.] и «Ежемесячном обозрении»[5 - Monthly Review («Ежемесячное обозрение») – американский левый теоретический журнал.]. Но приглашали-то меня рассказать о книге, и начали задавать вопросы. Сначала спрашивали исключительно о сложностях, которые приходится преодолевать героине, чтобы выбраться из среды, в которой она родилась. И только ближе к концу беседы одна девушка, высокая и тощая, попросила, нервно посмеиваясь, объяснить, почему я сочла необходимым включить в свой гладкий текст этот скабрёзный фрагмент.

Я смутилась, кажется, покраснела, и пустилась в сложные социологические рассуждения, пока не догадалась сказать, что считаю необходимым свободно говорить о человеческом жизненном опыте во всем его многообразии, в том числе о том, что представляется нам настолько неприличным, что мы предпочитаем молчать об этом даже наедине с собой. Эти мои слова явно понравились публике, и мне удалось вернуть себе расположение аудитории. Профессор, пригласившая меня, одобрила эту мою мысль, сказала, что подумает над ней и обязательно мне напишет.

Благодаря ее поддержке в голове у меня утвердились некоторые идеи, которые я вскоре стала повторять, как песенный припев. Я часто прибегала к ним в публичных выступлениях, озвучивая их то с юмором, то серьезно, то коротко, то длинно и замысловато. Особенно уверенно я почувствовала себя в Турине, на вечере в книжном магазине: народу собралось довольно много, и публика подобралась без комплексов. К тому времени я уже спокойно воспринимала расспросы – доброжелательные или провоцирующие – об эпизоде с сексом на пляже, тем более что у меня имелся готовый отточенный ответ, встречавший

неизменный успех.

В Турине меня по просьбе издательства сопровождал пожилой друг Аделе – Тарратано. Он гордился тем, что с самого начала предсказал успех моей книге; туринской публике он представил меня теми же восторженными словами, что и некоторое время назад в Милане. В конце вечера он поздравил меня с огромным прогрессом, которого я достигла за короткое время. Затем, как всегда добродушно, он спросил: «Почему вы соглашаетесь, когда эротическую сцену из вашей повести называют скабрёзной? Почему сами так ее определяете?» Он объяснил, что я не должна этого делать потому, что повесть не ограничивается эпизодом на пляже, в ней есть куда более интересные и важные сцены. К тому же если все вокруг и твердили о дерзости моего сочинения, то только потому, что его написала молодая девушка. «Откровенность, – заключил он, – не чужда хорошей литературе и подлинному искусству слова, что вовсе не делает их скабрёзными».

Мне стало стыдно. Этот образованнейший человек тактично объяснил мне, что в моей книге нет ничего стыдного и зря, говоря о ней, я молча соглашаюсь, что якобы совершила смертный грех. Иначе говоря, я все преувеличивала. Я терпела близорукость своей аудитории, ее поверхностность. «Хватит, – сказала я себе. – Нельзя так зависеть от чужого мнения, надо учиться возражать читателям, не опускаться до их уровня». Я решила строже обходиться с теми, кто заводит речь об этих эпизодах, – при первой же возможности начну.

За ужином в ресторане отеля, который нам оплачивало издательство, я смущенно, но с интересом слушала, как Тарратано цитирует Генри Миллера, доказывая мне, что я вполне целомудренный автор. Он называл меня «милой девочкой» и говорил, что многие талантливейшие писательницы двадцатых и тридцатых годов знали и писали о сексе такое, чего я и представить себе не могу. Я записала их имена в свою тетрадь. Этот человек, думала я, несмотря на все похвалы, не видит во мне большого таланта; в его глазах я обычная девчонка, которая не заслужила обрушившегося на нее успеха; даже страницы, больше всего волнующие читателей, он не воспринимает всерьез. Конечно, необразованных людей они шокируют, но таких, как он, – ни в малейшей степени.

Я сказала, что немного устала, и стала помогать Тарратано, выпившему лишнего, подняться. Это был низенький человек с солидным животом, любитель вкусно поесть, с вихрами седых волос, торчащими над большими ушами,

красным лицом, тонким ртом, большим носом и очень живыми глазами. Он много курил, и пальцы у него были желтые. В лифте он попытался обнять и поцеловать меня. Мне с трудом удалось его оттолкнуть, но он не сдавался. В памяти отпечатались прикосновения его живота и проспиртованное дыхание. До того мне и в голову не могло прийти, что порядочный и образованный пожилой человек, близкий друг моей будущей свекрови, способен на подобное. Когда мы вышли из лифта, он попросил у меня прощения, сказал, что это все от вина, и поспешил скрыться за дверью своей комнаты.

14

На следующий день за завтраком и потом в машине, которая везла нас в Милан, он увлеченно рассказывал о времени, которое считал лучшим в своей жизни, – 1945–1948 годах. В его голосе звучала искренняя грусть, которая исчезла, когда он начал с энтузиазмом рассуждать о новой революции – силе, которая, по его словам, должна поднять и молодых, и старых. Я без остановки кивала, поражаясь воодушевлению, с каким он доказывал мне, что в прошлом был таким же, как я сейчас, и как счастлив был бы туда вернуться. Мне стало немного жаль его. Одно из событий, о котором он упомянул, назвав точную дату, позволило мне быстро сосчитать в уме: человеку, сидевшему рядом со мной, было пятьдесят восемь лет.

В Милане неподалеку от издательства я распрощалась со своим компаньоном. Мысли путались: ночью я плохо спала. Оставшись одна, я попыталась забыть об отвратительных прикосновениях Тарратано, но мне было трудно избавиться от ощущения запачканности, которое напоминало мне о грязи нашего квартала. В издательстве меня встретили восторженно, и это была не просто вежливость, как несколько месяцев назад, – все действительно были мне рады, словно говорили: «Какая же ты молодец, и какие молодцы мы, что поверили в тебя!» Даже девушка в приемной, единственная во всем издательстве, кто относился ко мне с некоторым высокомерием, вышла из своей кабинки и обняла меня, а редактор, недавно придирчиво правивший мой текст, впервые пригласил меня на обед.

Мы расположились в полупустом ресторанчике неподалеку от издательства, и он сказал, что мое письмо обладает тайным завораживающим действием. В

перерыве между сменой блюд он добавил, что мне пора задуматься над новой книгой – спешить не надо, но и почивать на лаврах не годится. Он напомнил, что в три часа меня ждут в Государственном университете. Мариароза была тут ни при чем, издательство по своим каналам организовало для меня встречу со студентами. «Я там никогда не была. К кому мне обратиться?» – спросила я. «Мой сын будет ждать вас у входа», – с гордостью сообщил мне он.

Я вернулась в издательство, забрала свой багаж, поехала в отель, сняла номер и отправилась к университету. В здании стояла невыносимая жара. Стены были оклеены листовками, набранными мелким шрифтом, плакатами с изображением красных флагов и призывами к борьбе, здесь было многолюдно и шумно – я слышала громкие разговоры, крики, смех. В воздухе веяло трудноопределимой, но явственной тревогой. Помню темноволосого парня, который налетел на меня на бегу, потерял равновесие, едва удержался на ногах и выбежал на улицу, будто за ним кто-то гнался, хотя позади никого не было. Помню, как в душных коридорах вдруг раздался звук трубы – единственная нота – чистая и звонкая. Помню худенькую блондинку, которая с грохотом тащила за собой цепь с огромным замком на конце и громко кричала непонятно кому: «Я иду». Я помню их потому, что ждала, что меня узнают, и для важности достала свою тетрадку и начала делать в ней беспорядочные записи. Прошло полчаса, но никто ко мне так и не подошел. Я стала внимательнее всматриваться в листовки и плакаты в надежде найти свое имя, название своей повести. Безрезультатно. Я разнервничалась: мне было стыдно отнимать у студентов время, зачитывая фрагменты своей книги и предлагая обсудить ее, притом что листовки на стенах поднимали куда более важные темы. Я с тревогой осознала, что разрываюсь между двумя чувствами: огромной симпатией к этим молодым людям и девушкам, каждым своим жестом и словом воплощавшим протест, и страхом, что беспорядок, от которого я бежала с самого детства, сейчас, прямо здесь, снова захватит меня в плен и толкнет в самую глубь заварухи, где какая-нибудь непреодолимая сила – сторож, преподаватель, ректор или полиция – сочтет, что это я во всем виновата, не поверит, что я всю жизнь была хорошей девочкой, и строго меня накажет.

Я подумала сбежать оттуда: какое мне дело до этих бунтарей младше меня и зачем мне рассказывать им очередные глупости? Мне хотелось вернуться к себе в номер и наслаждаться положением успешной писательницы, которая много путешествует, ест в ресторанах и ночует в отелях. Но мимо прошли пять или шесть озабоченных девушек с тяжелыми сумками, и я будто против своей воли пошла за ними, за голосами, за криками, за звуком трубы. Так я шла и шла, пока не оказалась возле аудитории, из которой доносились неистовые крики.

Девушки, за которыми я шла, вошли туда, и я осторожно проскочила следом.

Среди небольшой группы людей, толпившихся возле кафедры, шел ожесточенный спор, в котором участвовали все присутствующие в переполненной аудитории. Я осталась стоять у двери, готовая в любой момент сбежать от невыносимой духоты насквозь прокуренного помещения.

Я пыталась понять, что происходит. Кажется, обсуждались какие-то процедурные вопросы, причем обстановка была такая, что никто – ни кричавшие, ни молчавшие, ни смеявшиеся, ни бегавшие по аудитории, как ординарцы по полю боя, ни державшиеся в стороне, ни пытавшиеся читать – явно не верил в то, что они смогут прийти к соглашению. Я надеялась, что где-то здесь и Мариароза. Постепенно я начала привыкать к шуму и духоте. В аудитории было столько народу! По большей части парни, красивые и некрасивые, элегантные и неряшливые, суровые, напуганные, веселые. Но я с любопытством вглядывалась в девушек: ощущение было такое, будто я единственная из них пришла сюда в одиночку. Некоторые девчонки – например, те, следом за которыми я пришла сюда, – постоянно держались вместе, даже когда ходили по переполненной аудитории и раздавали листовки; они вместе кричали, вместе смеялись, а если вдруг приходилось разойтись на пару метров в разные стороны, не спускали друг с друга глаз, чтобы не потеряться. Давние подруги или случайные знакомые, казалось, они нарочно объединялись в группы, чтобы, находясь здесь, среди этого беспорядка и хаоса, такого обольстительного и в то же время слишком страшного, оставаться в одиночестве. Наверное, они заранее, в более спокойной обстановке, договорились, что, если одна решит уйти, уйдут и все остальные. Другие девушки, по одной или – максимум – по двое, входили в мужские компании. Эти веселились, вели себя вызывающе, чувствовали себя в компании с парнями как рыба в воде и казались мне самыми счастливыми, самыми напористыми и самыми гордыми из всех.

Я понимала, что я не такая, как они, и не имею права здесь находиться. Раз мне нечего прокричать, нечего и оставаться среди табачного дыма, напомнившего мне об Антонио: он тоже курил, когда мы обнимались на прудах. По сравнению с ними я была слишком бедной и слишком загнала себя, стремясь непременно учиться лучше всех. Я почти не ходила в кино, никогда не покупала пластинок с любимой музыкой, у меня не было кумиров среди музыкальных исполнителей, я не бегала на концерты, не собирала автографы, никогда не напивалась, а мой небогатый сексуальный опыт дался мне совсем не просто, и я до сих пор сама его побаивалась. А эти девушки – кто побогаче, кто победнее – все же росли в

значительно более комфортных условиях и, когда настала пора сбросить старую кожу и обзавестись новой, оказались куда более подготовленными, чем я. Наверняка они не считали, что сошли с рельсов на пути к цели, а, наоборот, воспринимали здешнюю атмосферу как результат собственного единственно верного выбора. «Теперь, когда у меня появилось немного денег, – подумала я, – я могу хоть отчасти наверстать упущенное...» Но я ошибалась. Я была слишком хорошо образованна, слишком мало знала о жизни, слишком хорошо владела собой, слишком привыкла жить спокойно, накапливая мысли и знания, и, наконец, я собиралась выйти замуж и окончательно определиться в жизни, – в общем, я слишком любила порядок, а находясь здесь, рисковала им. Последняя мысль напугала меня. «Прочь из этого места, немедленно, – приказала я себе, – каждое услышанное здесь слово звучит оскорблением потраченным мной огромным усилиям». Но вместо того чтобы сбежать, я проскользнула внутрь переполненной аудитории.

С первого взгляда меня поразила одна девушка – явно младше меня, очень красивая, с тонкими чертами лица, черными длинными распущенными волосами. Я смотрела на нее и не могла глаз отвести. Ее окружали решительно настроенные парни, за спиной, как телохранитель, стоял темноволосый мужчина лет тридцати и курил сигару. Из толпы она выделялась не только красотой, но и тем, что держала на руках младенца нескольких месяцев от роду: она кормила его грудью и в то же время умудрялась внимательно следить за спором, а иногда и сама что-то выкрикивала. Когда ребенок – из голубого одеяльца выбились наружу красные ручки и ножки – отпускал сосок, она не спешила прятать грудь в бюстгальтер, а оставалась стоять как стояла – расстегнутая блузка, припухшая грудь, хмурое лицо, поджатые губы. Потом она замечала наконец, что ребенок перестал сосать, и снова машинальным жестом прикладывала его к груди.

Вид этой девушки меня потряс. В этой шумной, душной аудитории она казалась иконой неправильного материнства. Она была младше меня, красавица, на ней лежала ответственность за ребенка. Но при этом она делала все возможное, чтобы не походить на молодую заботливую мать. Она кричала, размахивала руками, просила слова, неистово смеялась, презрительно показывала на кого-то пальцем. Несмотря на все это, ребенок был частью ее, искал грудь, потом терял ее и снова находил. Вместе они представляли собой пугающую картину, будто нарисованную на стекле, – того и гляди разобьется! Ребенок в любой момент мог выскользнуть у нее из рук, кто-нибудь мог случайно ударить его локтем по голове. Я обрадовалась, когда рядом с ней вдруг появилась Мариароза. Наконец-то! Какая она была живая, яркая, приветливая. Очевидно, они с молодой

матерью были близко знакомы. Я помахала ей рукой, но она меня не заметила. Сказала что-то на ухо девушке, исчезла, появилась вновь, на сей раз среди спорщиков у кафедры. Тем временем в боковую дверь ворвалась группа людей, одним своим появлением немного утихомирив собравшихся. Мариароза подала кому-то знак рукой, дождалась ответного, взяла мегафон и произнесла несколько слов, после которых в аудитории настала тишина. В тот миг у меня мелькнуло ощущение, что гремучая смесь из атмосферы Милана, студенческих волнений и моего собственного возбуждения способна изгнать из моей головы прочно обосновавшиеся в ней тени. Сколько раз за последние дни я вспоминала человека, давшего мне азы политической культуры? Мариароза передала мегафон молодому парню, которого я не могла не узнать. Это был Франко Мари, мой любовник времен учебы в Пизе.

15

Он ничуть не изменился: тот же решительный тон, та же манера выстраивать речь: начинал он всегда с общих рассуждений, а затем – мысль за мыслью, буквально ведя публику за собой, – переходил к анализу конкретного события, раскрывая его подоплеку. Теперь я пишу это и понимаю, что очень плохо помню его внешне; в памяти сохранились только бледное выбритое лицо и короткая стрижка. Странно, что я не помню его тела, ведь на тот момент это был единственный мужчина, с которым у меня была длительная связь.

Я пробралась к Франко после его выступления; он обнял меня, его глаза горели от удивления. Но поговорить нам не удалось: кто-то уже тянул его за руку, кто-то другой бросался на него, настырно и громко что-то доказывая, будто он был в чем-то виноват. Я стояла среди этих людей, возле кафедры, и мне было страшно неловко. К тому же я потеряла в толпе Мариарозу. Однако вскоре она сама нашла меня и взяла за руку.

– Что ты здесь делаешь? – радостно спросила она.

Я не стала объяснять ей, что пропустила назначенную встречу и попала сюда случайно.

– Я его знаю, – сказала я, указав на Франко.

– Мари?

– Да.

Она вдохновенно заговорила со мной о Франко, а потом прошептала: «Они мне не простят, это ведь я его пригласила. Мы разворошили осиное гнездо!» Он должен был переночевать у нее и на следующий день уехать в Турин. Мариароза настояла, чтобы я тоже поехала. Я согласилась – прощай, отель!

Собрание шло долго, обстановка была напряженной, чтобы не сказать взрывоопасной. Мы вышли из университета, когда уже темнело. Помимо Франко к Мариарозе присоединилась молодая мать – ее звали Сильвия – и мужчина лет тридцати, которого я заметила еще в аудитории, тот самый, что курил сигару, – некто Хуан, художник из Венесуэлы. Все вместе по совету Мариарозы мы отправились ужинать в тратторию. Я успела переброситься с Франко парой слов, но их хватило, чтобы понять, что я ошиблась: он изменился. Как будто на него надели (или он сам на себя надел) маску, которая идеально копировала черты его лица, но в то же время скрывала его бывшее великодушие. Теперь он был сдержан, зажат, взвешивал каждое слово. Во время нашего недолгого и с виду доверительного дружеского разговора он ни разу не упомянул о наших прежних отношениях, а когда я заговорила о них и посетовала, что он перестал мне писать, он отрезал: «Так было нужно». На вопросы об университете отвечал расплывчато: я догадалась, что он так и не получил диплом.

– Я занят другими вещами.

– Какими?

Он обернулся к Мариарозе, которой, должно быть, наскучила наша беседа один на один.

– Елена спрашивает, чем я занимаюсь.

– Революцией, – весело ответила она.

– А в свободное время? – подхватила я ее иронический тон.

Хуан, сидевший рядом с Сильвией и нежно гладивший худенький кулачок ее ребенка, ответил серьезно:

– А в свободное время – подготовкой к революции.

После ужина мы все сели в машину Мариарозы и поехали к ней домой. Жила она в районе Сант-Амброджо, в огромной старой квартире. Как обнаружилось, у венесуэльца там было что-то типа студии – комната в страшном беспорядке, куда нас с Франко повели смотреть его работы – большие картины с изображением многолюдных, написанных с практически фотографической точностью урбанистических пейзажей, испорченные прибитыми поверх тюбиками краски, кисточками, палитрами, мисками для скипидара, тряпками. Мариароза очень хвалила его работы, обращаясь в первую очередь к Франко, мнением которого особенно дорожила.

Я наблюдала за ними и ничего не могла понять. Без сомнения, Хуан жил здесь, без сомнения, здесь же жила Сильвия, которая уверенно расхаживала по квартире со своим сыном Мирко. Сначала я подумала, что художник и молоденькая мама – пара и снимают здесь комнату, но вскоре поняла, что ошиблась. На самом деле вся забота венесуэльца о Сильвии была простой вежливостью, зато его рука часто обвивала плечи Мариарозы, а один раз он даже поцеловал ее в шею.

Сначала все долго обсуждали произведения Хуана. Франко обладал завидными познаниями в области изобразительного искусства, и его суждения отличались глубиной и меткостью. Мы увлеченно слушали его, все, кроме Сильвии: малыш, который до сих пор вел себя идеально, вдруг расплакался, и она никак не могла его успокоить. Я надеялась услышать от Франко что-нибудь о своей книге: наверняка он мог бы сказать о ней много интересного, как о картинах Хуана – кстати, о них он высказался довольно резко. Но о моей повести никто так и не упомянул. Венесуэлец, которому замечания Франко о связи искусства с социальными проблемами не очень понравились, возмущенно фыркнул, и разговор перекинулся на темы итальянской культурной отсталости, политической обстановки, последствий выборов, слабостей социал-демократии, студенчества и полицейских репрессий и того, что все называли французскими уроками. Полемика между мужчинами велась уже на повышенных тонах. Сильвия, не понимая, чего хочет Мирко, бранила его как взрослого и, расхаживая с сыном на руках по коридору или переодевая его в соседней комнате, время от времени вставляла в спор свое замечание, туманное по

смыслу, но явно неодобрительное. Мариароза сказала, что в Сорбонне для детей бастующих студентов организовали ясли, и вспомнила Париж в первые дни июня – дождливый, холодный и парализованный всеобщей забастовкой. Сама она там не была (о чем сожалела), но получила письмо от близкой подруги. Франко и Хуан слушали ее краем уха, захваченные своим спором, тональность которого становилась все более враждебной.

Мы, три женщины, наблюдали за ними, как три сонные коровы, ожидающие, пока перестанут бодаться сцепившиеся быки. Меня это разозлило. Я надеялась, что Мариароза присоединится к разговору, рассчитывая последовать ее примеру, но Франко и Хуан не оставляли нам такой возможности. Ребенок по-прежнему плакал, и Сильвия начала терять терпение. Мне подумалось, что Лила была даже моложе, когда родила Дженнаро. Я поняла, что еще во время собрания мысленно провела между ними параллель. Действительно, Лила после ухода Нино и разрыва со Стефано тоже осталась одна с ребенком на руках. Или дело было в красоте? Окажись Лила с Дженнаро в студенческой аудитории, она благодаря своей привлекательности и решительному характеру произвела бы на окружающих еще более сильное, чем Сильвия, впечатление. Но Лила была отрезана от событий, свидетельницей которых я стала. Даже если бы волна, захлестнувшая студенчество, докатилась до Сан-Джованни-а-Тедуччо, на колбасном заводе ее просто никто не заметил бы – слишком гиблое это было место. Я почувствовала укол вины: надо было забрать ее оттуда, увезти силой, взять с собой в мои путешествия. Или хотя бы продолжать слышать в себе ее голос, не позволять ему умолкнуть. Вот как сейчас. Мне и правда почудилось, что это она сердито говорит: «Что ты торчишь там как комнатное растение? Если не можешь заткнуть эту парочку, хоть девушке помоги. Представь себе на минутку, каково ей одной с младенцем!» У меня в голове все смешалось – время, пространство, чувства. Я подскочила к Сильвии и осторожно забрала у нее ребенка – она охотно вручила его мне.

Это был незабываемый момент. Какой чудесный малыш! Мирко меня очаровал. Он и правда был прелесть – весь розовый, ножки и ручки в перетяжечках, хорошенькое личико, ясные глазки, густые волосики! От него восхитительно пахло! Все это я тихонько нашептывала ему, расхаживая по квартире и укачивая его. Мужские голоса отдалились, а вместе с ними – идеи, которые они

отстаивали, и их враждебный тон. Зато меня охватило чувство доселе неведомого наслаждения. Я ощущала тепло подвижного тельца ребенка, и мне казалось, что благодаря этому прекрасному в своем совершенстве комочку жизни мои способности к восприятию обострились до крайней степени, я постигла, что такое нежность и ответственность, и была готова защитить его от всех злых теней, прятавшихся в темных углах этого дома. Мирко, вероятно, почувствовал это, перестал плакать и уснул. Мне было очень приятно, я гордилась, что смогла его успокоить.

Когда я вернулась в гостиную, Сильвия сидела на коленях у Мариарозы, слушала разговор мужчин и вмешивалась в него, отпуская резкие реплики. Она повернулась ко мне и, должно быть, заметила, с каким удовольствием я прижимаю к себе ее сына. Она вскочила, забрала у меня Мирко, бросив сухое «спасибо», и понесла его в кроватку. Лишенная тепла Мирко, я села на свое место в полном смятении мыслей и чувств. Мне хотелось, чтобы мне вернули этого ребенка, я надеялась, что он опять заплачет и Сильвия обратится ко мне за помощью. Что со мной происходит, думала я. Неужели я хочу детей? Хочу забеременеть, родить, кормить грудью, петь колыбельные? Хочу замуж? Вдруг в тот самый миг, когда я наконец почувствую себя в полной безопасности, из моего собственного живота вылезет моя мать?

17

Мне было трудно сосредоточиться на осмыслении «французского урока» и сути затянувшегося спора мужчин. Но и молчать мне надоело. Меня так и подмывало поделиться сведениями, почерпнутыми из недавно прочитанных газет, высказаться о ситуации в Париже, но в голове царил сумбур, и я не могла внятно сформулировать ни одну мысль. Я поражалась, что и Мариароза – такая умная и независимая – тоже хранила молчание и лишь с ободряющей улыбкой кивала, поддерживая Франко, что нервировало Хуана – он заметно терял апломб. Раз она молчит, сказала я себе, тогда скажу я. Иначе зачем я согласилась сюда прийти, хотя могла бы спокойно отдыхать в отеле? Я знала ответ на этот вопрос. Мне хотелось показать – тем, кто знал меня раньше, – какой я стала сегодня. Мне хотелось, чтобы Франко понял: я не просто его бывшая подружка, теперь я совершенно другой человек. Мне хотелось, чтобы он в присутствии Мариарозы признал, что относится ко мне новой с заслуженным уважением. Поэтому – мальчик уснул, и Сильвия ушла к нему в комнату, так что они больше во мне не

нуждались, – я старательно искала повод опровергнуть слова своего бывшего любовника и наконец его нашла. С моей стороны это была чистая импровизация: мною двигали не выстраданные убеждения, а желание выступить против Франко. В голове у меня засела целая куча лозунгов, которыми я с напускной уверенностью и принялась жонглировать. В общих чертах я говорила о том, что у меня вызывают сомнения утверждения о нарастании во Франции классовой борьбы, а вероятный союз студентов с трудящимися представляется мне абстракцией. Говорила я решительно, боясь, что один из мужчин меня перебьет и их спор потечет по прежнему руслу. Но все, включая Сильвию, которая вернулась в гостиную на цыпочках и без ребенка, слушали меня внимательно. Ни Франко, ни Хуан не проявляли ни малейших признаков нетерпения, а венесуэлец, после того как я дважды или трижды произнесла слово «народ», одобрительно закивал. «То есть ты настаиваешь, что нынешняя ситуация не является объективно революционной?» – не выдержал Мари. Я знала этот его ироничный тон: с его помощью он пытался подчеркнуть, что я ляпнула глупость. Между нами вспыхнула перепалка: мы перебрасывались репликами, как мячиком: не понимаю, какой смысл ты вкладываешь в слово «объективно»; смысл такой, что переход к активным действиям неизбежен; если он неизбежен, значит, тебе делать нечего; ничего подобного, революционер обязан делать все от него зависящее; во Франции студенты сделали больше, они сломали систему образования, и ее уже не восстановить; вот и признай, что все меняется и будет меняться дальше; да, но ни от тебя, ни от кого бы то ни было не требуется сертификат с печатью, удостоверяющий, что революционная ситуация объективно сложилась, студенты сами перешли к активным действиям, вот и все; неправда; именно что правда! И так далее, пока мы вдруг оба одновременно не умолкли.

Это был необычный спор – не по содержанию, а по накалу: мы говорили, не задумываясь о хорошем тоне. Я заметила, что Мариароза смотрит на нас с особым любопытством: она догадалась, что нас связывало нечто большее, чем совместная учеба в университете. «Помогите-ка мне!» – обратилась она к Сильвии и Хуану. Ей нужна была стремянка, чтобы достать из шкафа постельное белье для Франко и для меня. Они ушли, и я видела, что Хуан что-то шепнул Мариарозе на ухо.

Франко тут же уставился в пол, сжал губы, будто пытаюсь сдержать улыбку, и ласково сказал:

– Ты так и осталась мещанкой.

Так он в шутку называл меня несколько лет назад, когда я боялась, что меня застанут у него в комнате. Поскольку мы были одни, я довольно резко ответила:

– На себя посмотри. Вспомни свое происхождение и воспитание. Да и поведение тоже.

– Я не хотел тебя обидеть.

– А я и не обижаюсь.

– Ты изменилась. Стала злойкой.

– Я все та же.

– Дома все нормально?

– Да.

– А как твоя подруга? Кажется, ты была к ней очень привязана...

Этот его вопрос сбил меня с толку. Что я рассказывала ему о Лиле? В каких выражениях? С какой стати он вспомнил о ней сейчас? Что в нашем споре натолкнуло его на мысль о ней? И почему он углядел эту связь, а я – нет?

– У нее все хорошо.

– Чем она занимается?

– Работает на колбасном заводе под Неаполем.

– Разве она не замужем за лавочником?

– Брак продлился недолго.

– Познакомь меня с ней, когда буду в Неаполе.

– Обязательно.

– Оставишь мне ее адрес и телефон?

– Конечно.

Он смотрел на меня сочувственно, будто всеми силами старался не причинять мне лишней боли.

– Она прочла твою книгу?

– Не знаю. А ты прочел?

– Конечно.

– И как она тебе?

– Хорошо.

– В каком смысле?

– В ней есть хорошие страницы.

– Какие?

– Те, на которых главная героиня по-своему соединяет фрагменты окружающей действительности.

– И все?

– А этого недостаточно?

– Нет. Просто книга тебе не понравилась.

– Я уже сказал: хорошая книга.

Я знала его: он не хотел меня обидеть, и это меня разозлило.

– О ней много спорят, и она хорошо продается, – сказала я.

– Вот и отлично, разве нет?

– Да, но тебе-то она не понравилась. Что с ней не так?

Он снова поджал губы и наконец решился:

– В ней нет ничего особенного, Элена. За любовными интрижками героев и их стремлением подняться по социальной лестнице ты прячешь то, о чем действительно стоило бы рассказать.

– Что именно?

– Не важно. Забудь. Поздно уже, спать пора.

Он старался вернуться к насмешливо-доброжелательному тону, но на самом деле ни на йоту не отступил от своей новой роли человека, поглощенного выполнением настолько важной миссии, что все остальное его мало интересовало.

– Ты сделала все от тебя зависящее, верно? Просто сейчас – объективно – не время писать романы.

18

В гостиной появились Мариароза с Хуаном и Сильвией, они принесли чистые полотенца и простыни. Без сомнения, Мариароза слышала последнюю фразу и, конечно же, поняла, что речь идет о моей книге. Она могла бы сказать, что ей книга понравилась и что романы следует писать в любое время, но промолчала. Из этого я сделала вывод, что при всей ко мне симпатии в этом кругу – образованном и охваченном политическими страстями – мою книгу не

воспринимают всерьез: страницы, благодаря которым она получила популярность, расцениваются либо как разбавленная версия гораздо более скандальных произведений – которых я, к слову сказать, не читала, – либо удостаиваются пренебрежительного ярлыка «любовной интрижки», о чем только что говорил Франко.

Мариароза с торопливым радушием показала мне ванную и мою спальню. Мы простились с Франко: он уезжал рано утром. Я пожала ему руку; он тоже не собирался меня целовать. Я видела, как он скрылся в комнате Мариарозы; по мрачному выражению лица Хуана и несчастным глазам Сильвии я поняла, что гость и хозяйка дома будут спать вместе.

Я отправилась в выделенную мне спальню. Застоявшийся запах курева, небранная постель, ни тумбочки, ни ночника, только тусклая лампочка в центре потолка да куча газет на полу, несколько выпусков литературных журналов – «Менабо», «Нуово импенье», «Маркатре», дорогие книги по искусству – одни в ужасном состоянии, другие, судя по всему, вообще не читанные. Под кроватью обнаружилась полная окурков пепельница; я открыла окно, поставила ее на подоконник, разделась. Ночная рубашка, которую мне дала Мариароза, оказалась слишком тесной и длинной. Босиком, в полутьме я поплелась по коридору в ванную. Отсутствие зубной щетки меня не смущало: в детстве никто не приучал меня чистить зубы, эту привычку я не так давно приобрела в Пизе.

Лежа в постели, я пыталась выкинуть из головы Франко, каким увидела его сегодня, и вспомнить его прежнего – богатого и щедрого парня, который любил меня, помогал мне, учил меня, покупал мне разные вещи, брал меня с собой на политические собрания в Париж и возил в Версилию, в родительский дом. Но у меня ничего не вышло. Новый Франко, с его несдержанностью, шумным выступлением в переполненной аудитории, политическим жаргоном, отзвуки которого продолжали гудеть у меня в ушах, вытесняя из сознания мою книгу, мгновенно лишившуюся всякого смысла, оказался сильнее. Неужели я обманываю себя, веря в свое литературное будущее? Что, если Франко прав, и мне следует бросить писать романы и заняться чем-нибудь другим? Какое впечатление я произвела на него? Что он помнил со времен нашей любви, если вообще что-то помнил? Может, он жаловался на меня Мариарозе, как Нино жаловался мне на Лилу? Я была расстроена и разочарована. Я ожидала приятного, слегка меланхоличного вечера, а он обернулся глубокой печалью. Скорее бы утро. Скорее бы вернуться в Неаполь. Чтобы выключить свет, мне пришлось встать с кровати, а потом искать ее в темноте.

Мне не спалось, я ворочалась с боку на бок в постели, хранившей запахи чужих тел: вроде все как дома, но все не так; повсюду следы посторонних, порой отталкивающих жизней. Я задремала, но вскоре проснулась оттого, что кто-то вошел ко мне в комнату. «Кто здесь?» – шепотом спросила я. И услышала голос Хуана; без предисловий, словно речь шла о мелкой услуге, он спросил:

– Можно я лягу с тобой?

Просьба показалась мне настолько нелепой, что я, чтобы убедиться, что не сплю и правильно его поняла, переспросила:

– Ляжешь со мной?

– Да. Я тебе не помешаю, просто лягу рядом: не хочется оставаться одному.

– Ни в коем случае!

– Почему?

Я не знала, что ответить.

– Потому что у меня есть жених, – пробормотала я.

– И что? Мы же просто поспим, и все.

– Уходи, пожалуйста! Я тебя даже не знаю!

– Меня зовут Хуан, ты видела мои картины. Что еще ты хочешь знать?

Он сел на кровать, я увидела темный силуэт, почувствовала его дыхание, запах сигар.

– Прошу тебя, уйди, – не отступала я. – Я спать хочу.

– Ты же писательница, пишешь о любви. Все, что с нами происходит, подпитывает воображение и помогает творить. Пусти меня, и тебе будет о чем

рассказать читателю.

Он коснулся моей ноги кончиками пальцев. Я не выдержала, вскочила и бросилась к выключателю. Зажегся свет. Хуан так и остался сидеть на кровати в трусах и майке.

– Вон отсюда, – прошипела я настолько решительно, что он понял: сейчас я или заору, или накинусь на него с кулаками, и медленно встал с кровати.

– Ханжа, – с отвращением произнес он.

Он ушел. Я закрыла за ним дверь, но у меня не было ключа, чтобы запереться.

Я была в ужасе, в ярости, страшно напугана, в голове крутились самые жуткие ругательства на диалекте. Я не сразу вернулась в постель и не стала гасить свет. За кого они меня принимают? Разве я дала Хуану повод так себя со мной вести? Или это из-за книги? Может, они решили, что я девушка свободных взглядов? Или на них произвело впечатление мое участие в политическом споре? Очевидно же, что это был не просто теоретический диспут и не игра, затеянная ради того, чтобы доказать им всем, что я ничуть не хуже мужчин? Вступив в схватку с Франко, я перед ними раскрылась, но почему они поторопились сделать вывод о моей сексуальной доступности? Разве одного того факта, что я согласилась приехать к Мариарозе, было достаточно, чтобы посторонний мужчина посмел вломиться ко мне в комнату – так же бесцеремонно, как Мариароза увела к себе в комнату Франко? Или я незаметно для себя поддалась тому неясному эротическому возбуждению, которое витало в университетской аудитории, и не смогла его скрыть? Ведь именно здесь, в Милане, я готова была изменить Пьетро и переспать с Нино. Но Нино был моей давней любовью, и это многое объясняло. Но секс как таковой, примитивный секс ради оргазма, – ну уж нет, это не для меня. До этого я еще не докатилась. Почему в Турине друг Аделе решил, что меня можно лапать? Почему ко мне заявился Хуан? Чего они от меня ждали? И что хотели мне показать? Мне вдруг вспомнилась история с Донато Сарраторе. Но не тот вечер на пляже на Искье, который я потом описала в своей повести, а другой, когда я спала на кухне в доме у Неллы, а он пришел ко мне, целовал меня и гладил, а я помимо своей воли испытала прилив удовольствия. Существовала ли связь между той напуганной, сбитой с толку девчонкой и нынешней женщиной, к которой пристают в лифте, к кому врываются в комнату? И неужели блестяще образованный Тарратано, друг Аделе, и венесуэльский художник Хуан слеплены из того же теста, что и отец Нино, железнодорожный

Сон ко мне не шел. Я перенервничала, в голове царил сумбур, а тут еще Мирко проснулся и зашелся плачем. Я вспомнила, с каким удовольствием держала на руках ребенка, и не стерпела. Встала, пошла на звук плача и вскоре оказалась у двери, из-под которой сочился свет. Я постучала, и Сильвия грубо отозвалась: «Войдите». Комната была уютнее моей, в ней стоял старый шкаф, комод, двуспальная кровать, на которой сидела, скрестив ноги, молодая женщина в короткой розовой ночной сорочке и смотрела на меня злобным взглядом. Ее руки бессильно сжимали и комкали смятые простыни. Мирко – голый, с побагровевшим личиком – лежал у нее на коленях, щурил щелочки глаз и надрывался от крика, суча руками и ногами. Сначала Сильвия повела себя со мной враждебно, но вскоре оттаяла. Призналась, что она в отчаянии, что она плохая мать и не знает, что ей дальше делать. «Он постоянно орет, если не ест. Наверное, болеет. Умрет тут со мной, прямо на этой кровати...» – прошептала она. Я посмотрела на нее: она ни капли не походила на Лилу – некрасивая, с перекошенным ртом, выпученными глазами. Она разрыдалась.

У меня сжалось сердце. Мне хотелось обнять их обоих, и мать и сына, защитить и утешить. «Можно я возьму его на руки?» – спросила я. Продолжая всхлипывать, она кивнула. Я сняла с ее коленей мальчика, прижала к груди и снова ощутила уже знакомый прилив запахов, звуков, тепла, будто ребенок после разлуки торопился поделиться со мной своими жизненными силами. Я ходила с ним взад-вперед по комнате и, как нескладную молитву, выдумывая на ходу, бормотала бессвязные слова любви. Как ни удивительно, Мирко успокоился и уснул. Я тихонько положила его рядом с матерью, хотя мне очень не хотелось с ним расставаться. Я боялась, что, вернувшись в свою комнату, обнаружу там Хуана. Я предпочла бы остаться у Сильвии.

Сильвия поблагодарила меня, но без всякой искренности, ледяным голосом добавив к обычному «спасибо» перечень моих достижений: «Ты умна, все знаешь, умеешь заставить себя уважать, у тебя материнский талант: твоим будущим детям можно только позавидовать». Я смутилась и сказала, что пойду спать. Тут она вдруг испуганно схватила меня за руку и попросила остаться: «Он

чувствует, когда ты рядом, и спит спокойно. Пожалуйста, останься!» Я согласилась. Мы погасили свет, легли в постель, уложив мальчика посередке, но, вместо того чтобы спать, принялись рассказывать друг другу о себе.

В темноте Сильвия помягчала. Она говорила о том отвращении, которое испытала, узнав, что беременна. Она скрывала беременность не только от человека, которого любила, но и от себя самой, словно старалась поверить, что все пройдет само, как проходит болезнь. Но Сильвия начала полнеть, у нее появился живот, и ей пришлось признаться родителям – зажиточным интеллигентам из Монцы. Дома был страшный скандал, и Сильвия ушла из дома. Но вместо того чтобы честно сказать себе: чуда не произошло и ничего не рассосалось, а решиться на аборт ей мешает страх перед последствиями для здоровья, она внушила себе, что хочет этого ребенка из любви к мужчине, от которого забеременела. Он тоже заявил: «Раз ты хочешь ребенка, значит, и мне он нужен, потому что я люблю тебя». В тот момент никто из них не врал: она была влюблена в него, он – в нее. Но несколько месяцев спустя, незадолго до родов, любовь прошла, причем у обоих. Сильвия особенно настаивала на этом обстоятельстве, повторив эту болезненную подробность несколько раз. Между ними не осталось ничего, кроме взаимной неприязни. Она оказалась в полном одиночестве, и только благодаря Мариарозе ей до сих пор удавалось худо-бедно выживать. Сильвия говорила о ней с глубоким чувством: «Она прекрасный преподаватель, который действительно занимает сторону студентов, и бесценный друг».

Я сказала, что вся семья Айрота достойна восхищения, а мы с Пьетро обручены и осенью поженимся. «А меня одна мысль о браке повергает в ужас, – ответила она резко. – Институт семьи безнадежно устарел!» Но вдруг сменила тон.

– Отец Мирко тоже работает в университете, – грустно сказала она.

– Правда?

– Я была его студенткой. Такой уверенный в себе, всегда готовый к лекции, такой умный, красивый! Просто идеальный мужчина! Волнениями еще и не пахло, а он уже нам говорил: «Перевоспитывайте своих преподавателей, не позволяйте им обращаться с вами как со скотом».

– О ребенке он хоть немного заботится?

Она хмыкнула:

– Мужчина, за исключением тех сумасшедших моментов, когда ты любишь его так, что позволяешь войти в себя, всегда остается в стороне. Поэтому потом, когда ты больше его не любишь, тебе становится неприятно даже думать о том, что когда-то он был тебе нужен. Я приглянулась ему, он приглянулся мне – вот и все. Я ко многим испытываю симпатию, по несколько раз на дню. А ты что, нет? Но это быстро проходит. А ребенок с тобой, он часть тебя, в то время как его отец как был посторонним, так таким и остался. Даже имя его теперь звучит по-другому. Раньше я, едва проснусь, твердила: «Нино, Нино» – как магическое заклинание. А теперь мне его и слышать противно.

Повисла пауза. Потом я наконец негромко спросила:

– Значит, отца Мирко зовут Нино?

– Да, его в университете все знают. Он местная знаменитость.

– А как его фамилия?

– Нино Сарраторе.

20

Я уехала рано утром, оставив Сильвию спящей с малышом на груди. Художника нигде не было видно. Я попрощалась только с Мариарозой: она встала еще раньше, чтобы проводить Франко на вокзал, и как раз успела вернуться. Вид у нее был сонный и, как мне показалось, встревоженный.

– Хорошо спала? – спросила она.

– Мы долго болтали с Сильвией.

– Она рассказала тебе про Сарраторе?

– Да.

– Я знаю, что он твой друг.

– Это он тебе сказал?

– Да, мы немного посплетничали о тебе.

– Правда, что Мирко его сын?

– Да. – Она зевнула и улыбнулась. – Нино обворожителен, девушки сходят по нему с ума, прямо на части рвут. К счастью, в наше время можно делать что хочешь. Он дарит им радость, побуждает к действию.

Она сказала, что студенческому движению очень нужны такие люди, как он. Но и ему надо помогать расти над собой. «Одаренным людям необходима направляющая сила. Поскреби такого, и обнаружишь и буржуазного демократа, и главу предприятия, и реформатора...» Мне пора было уходить. Мы обе посетовали, что слишком мало времени провели вместе, и пообещали друг другу, что в следующий раз это исправим. Я забрала из отеля багаж и уехала.

Только в поезде по пути в Неаполь я наконец смогла переварить новость о втором отцовстве Нино. Нить звенящей тоски протянулась от Сильвии к Лиле, от Мирко – к Дженнаро. Мне подумалось, что страсть, разгоревшаяся на Искье, ночь любви в Форио, тайные свидания на пьяцца Мартири, беременность Лилы обесцветились и превратились в детали механизма, который Нино, покинув Неаполь, пустил в ход с Сильвией и неизвестно со сколькими еще девушками. Эта мысль оскорбила меня, будто где-то в дальнем уголке моего сознания засела Лила, заставляя меня чувствовать то же, что она. Я испытывала ту же горечь, какую испытала бы она, узнай о том, что знала я, и тот же гнев, словно это со мной обошлись так несправедливо. Нино предал и Лилу, и меня. Он оскорбил нас обеих, мы обе любили его, но он никогда не любил ни ее, ни меня. Несмотря на все свои прекрасные качества, он был человеком распутным, поверхностным, одержимым животными инстинктами, привыкшим оставлять за собой побочные последствия своих минутных удовольствий – зачатки живой материи, росшей и обретавшей форму в женском лоне. Мне вспомнилось, как несколько лет назад, в нашем квартале, когда он пришел повидаться со мной, мы стояли и разговаривали во дворе, и Мелина, выглянув в окно, приняла Нино

за его отца. Бывшая любовница Донато уловила сходство, которого я не замечала. Теперь я знала, что она была права, а я ошибалась: на деле Нино так и не смог сбежать от своего отца, хоть и боялся стать таким же, как он. Хуже того, он уже стал им, пусть и не желал этого признавать.

Но возненавидеть его я не могла. В раскаленном от зноя поезде я снова думала о нашей встрече в книжном магазине, связывая ее со всем, что случилось и было сказано за последнее время. Поступки, разговоры, книги без конца возвращали меня к навязчивой теме секса, одновременно отталкивающей и притягательной. Вокруг рушились преграды, и оковы благополучия разбивались на куски. Нино жил по законам своего времени. Он был органичной частью того шумного университетского собрания с его особыми запахами, он прекрасно вписывался в беспорядочную жизнь дома Мариарозы, которая, вне всякого сомнения, и сама была его любовницей. Благодаря своему уму, своим желаниям и своему умению обольщать он смотрел на новую эпоху уверенно и с любопытством. Возможно, я зря сравнила его с отцом, этим похотливым развратником; Нино явно принадлежал к другой культуре. И Сильвия, и Мариароза в один голос утверждали: девушки сами вешались на него, и он давал им то, чего они желали: никакого насилия, никакого греха, все по обоюдному согласию. Когда Нино сказал мне, что у Лилы неправильное отношение к сексу, возможно, он как раз и имел в виду, что время взаимных претензий между близкими людьми прошло и не следует отягощать наслаждение какими-то обязательствами. Даже если он унаследовал натуру отца, его страсть к женщинам принимала совсем иные формы.

Поезд подходил к Неаполю, и после долгих размышлений о Нино я отчасти была готова признать, что в его позиции нет ничего особенного. Немного досадуя на себя, я подумала: а что плохого он делает? Наслаждается жизнью сам и дарит наслаждение всем желающим. Но когда я подъезжала к своему кварталу, меня посетила другая мысль: именно потому, что все девушки хотели его заполучить, а он никому не отказывал, я, влюбленная в него с давних пор, хочу его еще сильнее. Поэтому я решила любыми путями избегать встреч с ним. Что до Лилы, то я не знала, как поступить. Промолчать? Или рассказать ей обо всем? Ладно, сказала я себе, вот увидимся с ней, тогда и определюсь.

По приезде домой у меня не было ни времени, ни желания возвращаться к этому вопросу. Позвонил Пьетро и сообщил, что на следующей неделе приедет знакомиться с моими родителями. Я восприняла эту новость как неизбежное зло и посвятила себя поискам отеля для него, генеральной уборке дома и попыткам хоть немного успокоить родных. Последнее, впрочем, было бессмысленно: обстановка в доме только накалялась. По кварталу все шире ползли гадкие слухи обо мне, о моей книге, о том, что я постоянно езжу одна. Мать отбивалась от них, рассказывая всем, что скоро я выхожу замуж, но, не вдаваясь в подробности, чтобы не проболтаться, что мой жених безбожник, хвастала, что свадьба состоится не в Неаполе, а в Генуе. Пересуды после этого, к ее неудовольствию, только усилились.

Как-то вечером она набросилась на меня с особенным ожесточением, возмущаясь, что люди, прочитавшие мою книгу, считают ее похабной и шепчутся у нее за спиной. Братьям, орала она, пришлось подраться с сыновьями мясника, которые называли меня шлюхой, и избить одноклассника Элизы, предложившего ей заняться тем же, чем занимается ее распущенная старшая сестра.

– Что ты там понаписала?

– Ничего, мам.

– Небось люди правду говорят, расписала всякие мерзости.

– Какие еще мерзости? Возьми да сама прочти.

– Еще чего! Некогда мне читать всякую срамоту.

– Тогда оставь меня в покое.

– Если отец узнает, что о тебе болтают, из дома выгонит.

– Не волнуйся, скоро сама уйду.

Был вечер. Я пошла прогуляться, чтобы не наговорить ей того, о чем потом буду жалеть. Мне казалось, что люди на улице, в парке, на шоссе внимательно разглядывают меня: ох уж эти злобные тени мира, в котором я больше не жила!

По пути я случайно наткнулась на Джильолу; она как раз возвращалась с работы. Мы были соседками и пошли домой вместе. Всю дорогу я боялась, что она найдет способ поддеть меня. Но вместо этого, к моему огромному удивлению, Джильола, девица довольно вздорная и подлая, неожиданно робко проговорила:

– Я прочла твою книгу. Мне очень понравилось. Нужно быть очень смелой, чтобы описывать такие вещи.

Я остолбенела:

– Какие «такие»?

– Ну, те, которыми ты занималась на пляже.

– Это не я ими занималась, а моя героиня.

– Да, но ты так здорово все описала, Лен?, все прямо как в жизни, вся эта грязь. Там много того, что только женщина может знать. – С этими словами она потянула меня за локоть, и мне пришлось остановиться. – Если увидишь Лину, передай ей, что она была права, теперь я это поняла. Она правильно сделала, что плюнула на мужа, мать, отца, брата, Марчелло, Микеле и все это дерьмо. Мне тоже надо было бежать отсюда, надо было брать пример с вас. Но вы умные, а я родилась душой, ничего не поделаешь.

Больше ничего существенного мы друг другу не сказали: я остановилась на своей лестничной клетке, она отправилась к себе. Но ее слова врезались мне в память. Меня поразило, что жизненный крах Лилы и мой взлет она воспринимала как явления одного порядка, веря, что по сравнению с ней нам обеим повезло. Но еще больше меня впечатлило, что в «грязи», описанной в моей книге, она узнала нечто, произошедшее с ней самой. Для меня это стало открытием, и я пока не знала, как к этому отнестись. Тем более что вскоре приехал Пьетро, и я на время забыла об этом разговоре.

Я встретила его на вокзале, проводила в отель на виа Фиренце: мне его посоветовал отец. Мне показалось, что Пьетро волнуется еще больше моих родных. Одетый, как всегда, неряшливо, с усталым, покрасневшим от жары лицом, он сошел с поезда, волоча за собой огромный чемодан. Он решил купить моей матери цветы и, вопреки своей привычке к скромности, не успокоился, пока не выбрал самый большой и дорогой букет. Он оставил меня с этим букетом в холле гостиницы, сказав, что скоро вернется, и исчез на полчаса. Когда он спустился, на нем был синий костюм-тройка, белая рубашка, голубой галстук и начищенные до блеска туфли. Я рассмеялась. «Мне не идет, да?» – спросил он. Я успокоила его: выглядел он прекрасно. Но, пока мы шли по улице, я чувствовала у нас за спиной сальные взгляды мужчин и издевательские улыбочки, сопровождавшие меня, когда я ходила одна. Пожалуй, их было даже больше, чем всегда: они показывали, что мой спутник не заслуживает уважения. Пьетро с огромной охапкой цветов, который он нес сам, одетый с иголки и всем своим видом источавший добропорядочность, плохо вписывался в мой город. Свободной рукой он обнимал меня за плечи, но меня не покидало ощущение, что не я, а он нуждается в защите. Нам открыла Элиза, затем вышел отец, за ним – братья, все празднично одетые и подчеркнуто приветливые. Мать показалась последней: сначала до нас донесся шум слива воды в сортире, сразу за ним – перестук неровных шагов. Она сделала укладку, слегка накрасила губы и щеки: мне подумалось, что когда-то она, наверное, была красивой девушкой. Она самодовольно приняла цветы, и мы расположились в столовой – ради торжественного случая в ней не осталось и следа от постелей, которые мы раскладывали по вечерам и убирали по утрам. В квартире царила безупречная чистота, был накрыт стол. Мать с Элизой готовили несколько дней подряд, и ужин длился бесконечно. Меня поразило Пьетро: он был невероятно общителен, расспрашивал моего отца о работе и слушал его с таким вниманием, что тот бросил мучительные попытки изъясняться на итальянском и перешел на диалект, начав рассказывать байки из жизни сотрудников муниципалитета, из которых мой жених мало что понимал, но делал вид, что ему очень интересно. Я никогда не видела, чтобы Пьетро так ел. Он не только нахваливал каждое блюдо, но и интересовался рецептами, будто полжизни проводил у плиты, хотя на самом деле был не способен поджарить и яичницу. Картофельной запеканкой он восторгался так, что мать положила ему огромную вторую порцию и даже пообещала, пусть и без особого энтузиазма, что до его отъезда приготовит ее для него еще раз. Атмосфера за столом очень быстро стала теплой. Даже Пеппе и Джанни передумали убегать из-за стола к друзьям и остались с нами.

После ужина началось самое главное. Пьетро торжественным голосом попросил у отца моей руки. Он использовал именно это выражение и произнес его с таким

чувством, что моя сестра чуть не расплакалась, а братья развеселились. Отец засмутился и забормотал, что для него это огромная честь – такой приятный и серьезный молодой профессор... Казалось, дело близится к завершению, но тут вмешалась мать.

– Мы не согласны, – сказала она хмуро. – Если вы не будете венчаться. Брак без священника – не брак.

Наступила тишина. Должно быть, родители заранее договорились, что эту тему поднимет мать. Отец, впрочем, не выдержал и слегка улыбнулся Пьетро, чтобы показать ему, что он, хотя и принадлежит к «мы», заявленному женой, предпочел бы обсудить этот вопрос в более мягкой форме. Пьетро улыбнулся ему в ответ, но, понимая, что на сей раз главный собеседник не он, отныне обращался исключительно к матери. Я заранее предупредила его о враждебности моих родных, и он подготовился. Он говорил просто, доброжелательно, но, как всегда, очень четко. Сказал, что понимает их, но и сам, в свою очередь, надеется на их понимание. Что бесконечно уважает людей, искренне верующих в Бога, но себя таковым не ощущает. Что быть неверующим вовсе не означает ни во что не верить, что у него есть убеждения и он бесконечно верит в свою любовь ко мне. Что именно эта любовь скрепит наш брак, а не алтарь, священник или работник муниципалитета. Что отказ от церковного обряда для него вопрос принципа и что я непременно разлюбила бы его или, по крайней мере, любила бы меньше, если бы он показал себя человеком беспринципным. Наконец, что и моя мать, вне всякого сомнения, не смогла бы доверить свою дочь человеку, готовому просто так отречься от своих убеждений.

При этих его словах отец начал уверенно кивать в знак согласия, братья стояли разинув рты, Элиза опять растрогалась. Мать хранила невозмутимость. Несколько секунд она теребила обручальное кольцо на пальце, затем посмотрела Пьетро прямо в глаза и вместо того чтобы сдаться или продолжить спор, вдруг принялась с холодной решимостью превозносить мои достоинства. Она говорила, что я с детства была не такой, как другие дети. Что мне удавалось то, что было не под силу ни одной другой девчонке в квартале. Что я была и остаюсь ее гордостью, гордостью всей семьи. Что я никогда ее не разочаровывала. Что я заслужила право на счастье, и что, если кто-нибудь причинит мне боль, она постарается, чтобы этому человеку было в тысячу раз больнее.

Я слушала ее в замешательстве. Пока она говорила, я пыталась понять, говорит она это серьезно или, по своей привычке, дает Пьетро понять, что ей плевать на его профессорское звание и на всю его болтовню, что это не он делает одолжение семье Греко, а семья Греко делает одолжение ему. Я слушала ее, не веря своим ушам. Зато мой жених верил ей беспрекословно и соглашался с каждым ее словом. Когда она наконец замолчала, он сказал, что прекрасно знает, какое я сокровище, и бесконечно благодарен ей за то, что она воспитала такую дочь. Затем он сунул руку в карман пиджака, достал синий футляр и застенчиво протянул ее мне. Я удивилась – что это может быть? Кольцо он мне уже дарил. Неужели решил подарить еще одно? Я открыла футляр. В нем действительно лежало кольцо, причем невероятно красивое: из красного золота, с аметистом, обрамленным бриллиантами. «Это кольцо принадлежало моей бабушке, – тихо сказал Пьетро, – маминой матери. Вся наша семья очень рада, что оно достанется тебе».

Этот подарок ознаменовал окончание ритуальной части вечера. Мужчины еще выпили, отец снова пустился рассказывать смешные случаи из жизни, Джанни поинтересовался, за кого болеет Пьетро, а Пеппе предложил ему помериться силой рук. Я помогала сестре убрать со стола и имела неосторожность спросить у матери на кухне:

– Ну и как тебе?

– Кольцо?

– Нет, Пьетро.

– Некрасивый: ноги кривые.

– Папа был не лучше.

– Ты что-то имеешь против своего отца?

– Нет, ничего.

– Вот и помолчи, а то ты только с нами смелая.

– Неправда.

– Да ну! А что же ты тогда позволяешь собой командовать? Видите ли, у него принципы... А у тебя что же, нет их? Можешь ты заставить себя уважать?

– Мам, – вмешалась Элиза, – Пьетро – культурный человек, ты же не знаешь, что значит быть по-настоящему культурным человеком...

– А ты прямо знаешь! Помолчи, а не то надаю. Видела, что у него с прической? Разве может культурный человек ходить такой нечесаный?

– Быть культурным – не значит обладать какой-то внешностью, это особый склад характера.

Мать чуть не ударила ее, но сестра рассмеялась и утащила меня с кухни.

– Как же тебе повезло, Лену, – сказала она весело. – Какой он милый! И как любит тебя! Он ведь подарил тебе семейную реликвию, бабушкино кольцо, да? Покажешь?

Мы вернулись в столовую как раз в тот момент, когда вся мужская половина семейства собралась испытать силу рук моего жениха: им очень хотелось показать, что они превосходят профессора хотя бы физически. Он не отступил: снял пиджак, засучил рукава рубашки и сел за стол. Он проиграл и Пеппе, и Джанни, и моему отцу. Но меня изумило, как он старался выиграть. Он побагровел, у него проступила вена на лбу, он кричал, что его соперники играют против правил, и упорно сражался с Пеппе и Джанни, тягавшими штангу, и с отцом, привыкшим отвинчивать гайки двумя пальцами. Все время, пока они состязались, я боялась, что он даст им сломать себе руку, лишь бы не проиграть.

Пьетро пробыл с нами три дня. Отец и братья быстро привязались к нему. Последние особенно были рады тому, что он не задавался и проявлял к ним интерес, хотя в школе их считали бездарями. Мать, напротив, вела себя с ним не

особенно дружелюбно и только накануне его отъезда оттаяла. Это было в воскресенье. Отец сказал, что хочет показать зятю все красоты Неаполя, тому понравилась идея, и он предложил поужинать где-нибудь всем вместе.

– Мы пойдем в ресторан? – нахмурилась мать.

– Да, синьора, нам есть что отметить.

– Лучше я сама приготовлю ужин, мы же обещали накормить тебя запеканкой.

– Спасибо, синьора, но вы и так слишком много для меня сделали.

Во время сборов мать отвела меня в сторону и спросила:

– А платить он будет?

– Да.

– Уверена?

– Конечно, мам, он же нас пригласил.

Утром, празднично одетые, мы отправились в центр. И тут случилось то, что поразило меня до глубины души. Поначалу отец взял на себя роль гида. Он показал гостю замок Маскио Анджоино, Королевский дворец, статуи правителей, Кастель-дель-Ово, виа Караччоло, море. Пьетро слушал его очень внимательно. Но в какой-то момент он, гулявший по нашему городу в первый раз, начал сам, немного смущаясь, рассказывать нам о Неаполе, открывая новые, неизвестные нам факты. Это было прекрасно. Я никогда особенно не интересовалась местами, с которыми были связаны мои детство и отрочество, и меня потрясло, с каким восхищением говорил о моем городе Пьетро. Он рассказывал нам об истории Неаполя, неаполитанской литературе, сказках, легендах, памятниках – как сохранившихся, так и утраченных по чьей-то халатности, – пересказывал анекдоты из жизни города. Я понимала, что он знал город так хорошо не только потому, что знал вообще все, но и потому, что это был мой город. Отец быстро почувствовал себя низринутым с трона, братья заскучали. Я заметила это и дала понять Пьетро, что рассказ пора заканчивать. Он покраснел и тут же умолк. Но

мать, как всегда, была непредсказуема – она повисла у него на руке и сказала:

– Продолжай, мне так нравится! Мне никто никогда ничего такого не рассказывал.

Обедать мы отправились в «Санта-Лючию»; по словам моего отца, это был прекрасный ресторан (сам он, разумеется, там не бывал, но слышал о нем).

– Я могу заказать все, что захочу? – шепнула мне на ухо Элиза.

– Конечно.

Обстановка в ресторане была спокойная. Мать выпила лишнего и отпустила пару неприличных выражений, отец, братья и Пьетро шутили между собой. Я глаз не могла отвести от своего будущего мужа: сомнений не было, я любила его. Этот человек знал себе цену и в то же время при необходимости умел с такой легкостью забывать о себе. Я в первый раз в жизни заметила, как внимательно он умеет слушать, с каким участием говорит с собеседником, – настоящий исповедник в миру. Этот его тон и голос очень мне нравились. Возможно, мне стоило убедить его остаться еще на день и познакомить с Лилой? Я скажу ей: «Я выхожу замуж за этого человека и уезжаю с ним из Неаполя. Как думаешь, правильно я поступаю?» Я как раз мысленно взвешивала, стоит ли мне так поступить, когда заметила за соседним столиком компанию из пяти-шести студентов, которые что-то отмечали за пиццей и, поглядывая в нашу сторону, обменивались смешками. Я поняла, что их развеселил вид Пьетро с его густыми бровями и свисающей на лоб копной волос. Несколько минут спустя мои братья не сговариваясь одновременно встали из-за стола, подошли к студентам и что-то им сказали – подозреваю, что-то не слишком приятное. Те ответили, началась перепалка, раздались крики, кто-то кого-то ударил. Мать в поддержку сыновей разразилась потоком брани, отец и Пьетро бросились разнимать дерущихся. Пьетро это происшествие скорее позабавило: по-моему, он так и не понял, из-за чего разгорелась ссора. «Это что, местный обычай, – пошутил он, когда мы вышли на улицу, – подойти и ни с того ни с сего наброситься с кулаками на сидящих за соседним столиком?» В результате симпатия между Пьетро и моими братьями только укрепилась. Но отец при первой возможности отвел Пеппе и Джанни в сторонку и строго отчитал за то, что те выставили себя перед профессором какими-то дикарями. Я слышала, как Пеппе шепотом оправдывался: «Пап, они же насмехались над Пьетро, что ж нам, молчать надо было?» Мне понравилось, что он назвал его «Пьетро», а не «профессор», –

верный знак того, что он уже считал его своим, членом семьи и другом, пусть даже чудаковатым, смеяться над которым в его присутствии не смел никто. Но меня этот случай убедил, что не стоит знакомить Пьетро с Лилой: уж я-то ее знала, она была злая, и, если бы Пьетро показался ей нелепым, она вполне могла встретить его издевкой, как те парни в ресторане.

Вечером мы вернулись домой, уставшие после долгой прогулки, слегка перекусили и все вместе пошли провожать моего жениха до отеля. Мать неожиданно для всех на прощанье расцеловала его в обе щеки. На обратном пути, пока мы наперебой обсуждали достоинства Пьетро, она не проронила ни слова. И только дома, прежде чем отправиться спать, с завистью сказала мне:

– Тебе слишком повезло. Бедный мальчик! Ты его не заслуживаешь.

24

Книга хорошо продавалась все лето, а я продолжала разъезжать по Италии и рассказывать о ней. Теперь я старалась рассуждать о ней немного отстраненно, охлаждая пыл агрессивно настроенной публики. Помня, что сказала мне Джильола, я использовала в своих выступлениях ее слова, сплетая их со своими.

В начале сентября Пьетро перебрался во Флоренцию, поселился в привокзальном отеле и занялся поисками жилья для нас. Он нашел маленькую съемную квартиру неподалеку от Санта-Мария-дель-Кармине. Я поехала ее посмотреть: две темные комнаты в жалком состоянии, крошечная кухня, ванная комната без окна. Когда-то давно, когда я ходила заниматься к Лиле в ее новую квартиру, она часто пускала меня в свою до блеска начищенную ванну понежиться в теплой воде с пеной. Ванна флорентийской квартиры была пожелтевшая, потрескавшаяся и только сидячая. Но я придушила свое недовольство и сказала, что квартира меня устраивает: у Пьетро начинались лекции, ему надо было работать, а не терять время на всякую ерунду. К тому же по сравнению с квартирой моих родителей это был настоящий дворец.

Пьетро уже собирался подписывать договор аренды, но тут к нам приехала Аделе. В отличие от меня она не оробела: назвала квартиру сараем и сказала, что та совершенно не подходит людям, которые значительную часть времени

работают дома. Затем она сделала то, что мог бы сделать, но не сделал ее сын: сняла телефонную трубку и, не обращая внимания на яростные протесты Пьетро, начала обзванивать всех своих хоть сколько-то влиятельных флорентийских знакомых. Вскоре нам за смехотворную арендную плату удалось снять пятикомнатную квартиру в районе Сан-Никколо – светлую, с огромной кухней и большой ванной. На этом Аделе не успокоилась: на свои деньги сделала в ней ремонт и помогла мне купить мебель. По правде говоря, она не всегда считалась с моими вкусами, хотя моя покорность ей тоже не нравилась. Если я соглашалась с ее выбором, она по несколько раз переспрашивала, действительно ли я довольна; если я возражала, она уговаривала меня, пока я не приму ее сторону. В общем, мы все сделали так, как хотелось ей. Справедливости ради должна сказать, что я редко вступала с ней в спор, а больше старалась у нее учиться. Меня завораживала ее речь, манеры, прическа, одежда, обувь, брошки, серьги – она всегда была великолепна. А ей нравилось, что я вела себя как послушная ученица. Она уговорила меня коротко постричься, на свой вкус выбрала для меня одежду в дорогом магазине, где ей делали большие скидки, подарила пару туфель, которые хотела купить себе, но решила, что ей они не по возрасту, и даже отвела к дантисту, рекомендованному друзьями.

Между тем свадьбу, отчасти из-за квартиры, которая, по мнению Аделе, нуждалась все в новых улучшениях, отчасти из-за Пьетро, с головой ушедшего в работу, перенесли с осени на весну, что дало моей матери лишний повод поскандальить и вытянуть из меня еще денег. Я старалась избегать крупных ссор и показывала, что не забываю родную семью. Телефон нам поставили, и я оплатила небольшой ремонт: в коридоре и кухне перекрасили стены, в столовой поклеили новые обои в фиолетовый цветочек; я купила пальто Элизе, в рассрочку приобрела телевизор. Наконец, я решила сделать подарок и себе: записалась в автошколу, с легкостью сдала экзамен и получила права. Мать страшно разозлилась:

– Нравится тебе кидать деньги на ветер? Зачем тебе права, если у тебя нет машины?!

– Там видно будет.

– Ты что, собираешься машину покупать? Сколько же у тебя на самом деле денег?!

– Это тебя не касается.

Машина была у Пьетро, и я надеялась, что смогу водить ее после свадьбы. Когда он снова приехал в Неаполь (как раз на машине – он привез своих родителей знакомиться с моими), то дал мне сесть за руль. Я прокатилась и по старому району, и по новому: проехала по шоссе, мимо начальной школы, библиотеки, вверх по улице, где раньше жила Лиля с мужем, и вернулась назад по дороге вдоль парка. Этот мой первый водительский опыт стал единственным приятным воспоминанием от того дня. День прошел ужасно, за ним наступил нескончаемый ужин. Мы с Пьетро изо всех сил старались снять напряжение, но наши семьи принадлежали к настолько разным мирам, что за столом то и дело повисало долгое молчание. Когда Айрота наконец ушли, нагруженные невероятным количеством остатков ужина – мать им навязала, – мне вдруг подумалось, что я совершаю грандиозную ошибку. Я из этой семьи, Пьетро – из той. Каждый из нас носит в себе черты своих предков. Что же будет с нами после свадьбы? Что меня ждет? Сможет ли то, что нас сближает, взять верх над нашими различиями? Напишу ли я еще одну книгу? Когда? О чем? Пьетро поддержит меня? А Аделе? А Мариароза?

Как-то вечером я сидела дома, погруженная в подобные размышления, когда услышала, что меня зовут с улицы. Я узнала голос Паскуале Пелузо и подбежала к окну. Он был не один, а с Энцо. Я забеспокоилась. Разве Энцо не должен быть дома, в Сан-Джованни-а-Тедуччо, с Лилой и Дженнаро?

– Можешь спуститься? – крикнул Паскуале.

– Что случилось?

– Лиле плохо, и она хочет тебя видеть.

– Бегу, – ответила я и бросилась вниз по лестнице, не обращая внимания на мать, завопившую мне вслед: «Куда тебя несет, ночь на дворе? Вернись немедленно!»

С Паскуале и Энцо мы не виделись очень давно, но сейчас они пришли ради Лилы и потому без лишних предисловий заговорили о ней. Паскуале отпустил бороду, как у Че Гевары: она ему шла. Глаза казались больше и выразительнее, под густыми усами стало совсем не заметно плохих зубов, даже когда он смеялся. А вот Энцо совсем не изменился и был, как всегда, молчалив и сосредоточен. Мы сели в старую машину Паскуале, и тут я задумалась о том, насколько странно видеть их вместе. До сих пор я считала, что после случившегося никто из жителей квартала не общается с Лилой и Энцо. На самом деле Паскуале часто их навещал, и не случайно Лиля отправила их за мной вдвоем.

Энцо, как всегда, коротко и ясно рассказал мне, что случилось. Они пригласили Паскуале – он теперь работал на стройке близ Сан-Джованни-а-Тедуччо – на ужин. Лиля обычно возвращалась с завода в половине пятого, но, когда Паскуале с Энцо в семь вечера пришли в квартиру, там было пусто. Дженнаро был у соседки. Паскуале с Энцо приготовили ужин, Энцо накормил мальчика. Лиля вернулась только в девять, бледная и взволнованная. На вопросы не отвечала. Единственное, что она испуганным голосом сказала: «Я потеряла ногти». Энцо осмотрел ее руки: ногти были на месте. Она разозлилась, закрылась в комнате с Дженнаро, откуда крикнула, чтобы они сходили узнать, дома ли я, потому что ей срочно нужно со мной поговорить.

– Вы поссорились? – спросила я Энцо.

– Нет.

– Может, она заболела? Поранилась на работе?

– Не знаю. Не похоже.

– Давай не будем паниковать раньше времени, – сказал мне Паскуале. – Спорим, Лина успокоится, как только тебя увидит? Я рад, что мы тебя застали: ты теперь важная птица, вся в делах.

Я пыталась возражать, но он в подтверждение своих слов процитировал старую статью из «Униты». Энцо согласно кивнул: он тоже ее читал.

– Лиля тоже видела статью, – сказал он.

– И что сказала?

– Ей очень понравилась фотография.

– Только они написали, – проворчал Паскуале, – что ты еще студентка. Надо было сообщить в газету, что ты уже получила диплом.

Весь остаток пути он сокрушался, что даже «Унита» больше всего пишет про студентов. Энцо с ним соглашался. В целом их беседа не слишком отличалась от тех, что я слышала в Милане, разве что выражались они проще. Паскуале с особым удовольствием повторял, что, надо же, про меня, их подругу, печатают статьи в «Уните», да еще с фотографией. Возможно, они и затеяли весь этот разговор, чтобы хоть немного развеять тревогу, и свою, и мою.

Я сидела и слушала. Вскоре мне стало ясно, что их дружба держалась на общем увлечении политикой. Они часто виделись после работы на партийных собраниях или подобных мероприятиях. Я из вежливости вставляла по паре реплик, но у меня из головы не шла Лида: она же такая сильная, что могло с ней случиться? Пока мы ехали до Сан-Джованни, оба моих приятеля окончательно убедились, что мною можно гордиться. Особенно Паскуале: он смотрел на меня в зеркало заднего вида и ловил каждое мое слово. Он не отказался от своего самоуверенного тона – еще бы, он же был секретарем районной партийной ячейки, – но на самом деле искал в моих высказываниях на политические темы подтверждения собственной правоты. Убедившись, что я целиком на его стороне, он рассказал, что они с Энцо и другими товарищами ведут отчаянный внутрипартийный спор, потому что компартия, злобно стукнув кулаком по рулю, объяснил он, намерена до скончания века сидеть и ждать, пока ей, как дрессированной собачке, не свистнет Альдо Моро[6 - Крупный политический деятель Италии, христианский демократ.] – вместо того чтобы бросить болтать и перейти к активным действиям.

– Что скажешь? – спросил он меня.

– Ты совершенно прав, – ответила я.

– Все-таки ты молодец, – торжественно заявил он, пока мы поднимались по грязной лестнице. – И всегда была молодец. Правда, Энцо?

Энцо кивнул, однако я заметила, что с каждой ступенькой его, как и меня, все больше охватывает беспокойство за Лилу; он словно стыдился, что позволил увлечь себя нашим разговором. Он отпер квартиру, крикнул: «Мы пришли» – и указал мне на дверь со стеклянным окошком, сквозь которое пробивался слабый свет. Я тихонько постучала и вошла.

26

Лила лежала на раскладушке прямо в рабочей одежде. Дженнаро спал рядом. «Входи, – сказала она. – Я знала, что ты придешь. Поцелуй меня». Я расцеловала ее в обе щеки и села на кушетку, на которой, наверное, обычно спал мальчик. Сколько времени прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз? Мне показалось, что она еще больше похудела и побледнела. Глаза были красные, все руки в порезах, кожа вокруг носа воспалена.

– Я видела твое фото в газетах... – Она говорила быстро, без остановок, но тихо, чтобы не разбудить ребенка. – Какая ты красавица, какие волосы! Я все о тебе знаю, знаю, что ты выходишь замуж, что он профессор, что ты переезжаешь во Флоренцию. Ты молодчина! Прости, что заставила тебя прийти сюда в такое время, у меня голова не работает, я совсем расклеилась. Как хорошо, что ты здесь.

– Что случилось? – Я погладила ее руку.

Она вытаращила глаза, затряслась и резко отдернула руку.

– Мне нехорошо, – сказала она. – Подожди, не бойся, сейчас я успокоюсь.

Она перестала дрожать и заговорила медленно, чеканя каждое слово:

– Я потревожила тебя, Лен?, потому что только тебе доверяю. Ты должна пообещать мне: если со мной что-нибудь случится, если я попаду в больницу, если меня отправят в психушку, если меня вообще не найдут, ты должна взять Дженнаро, забрать его себе, вырастить в своем доме. Энцо очень хороший, он умный, я ему доверяю, но он не сможет дать ребенку того, что сможешь дать ты.

– Что ты такое говоришь? Что с тобой? Я ничего не поняла, объясни мне.

– Сначала пообещай.

– Хорошо.

Ее снова затрясло – я сильно напугалась.

– Нет, никаких «хорошо». Ты должна сказать мне здесь и сейчас, что не бросишь моего сына. Если будут нужны деньги, разыщи Нино, скажи, чтобы он тебе помог. Только дай мне слово. Скажи: «Я воспитаю твоего ребенка».

Я в нерешительности посмотрела на нее и сделала, что она просила. Дала обещание, осталась с ней и слушала ее всю ночь.

27

Наверное, я в последний раз рассказываю о Лиле в подробностях. Потом она стала ускользать от меня, и мои сведения о ее жизни заметно оскудели. Наши жизни разошлись слишком далеко. Но даже несмотря на то, что мы жили в разных городах, почти не виделись, она ничего не рассказывала о себе, а я старалась не спрашивать, тень ее всегда следовала за мной, подгоняла или подавляла, переполняла гордостью или принижала, не давая мне успокоиться ни на миг.

Сейчас, когда я пишу эти строки, ее тень нужна мне как никогда. Она нужна мне здесь и сейчас, потому я и пишу. Я хотела бы, чтоб она исправила нашу историю, что-то вычеркнула, а что-то добавила, переписала ее на свой вкус и рассказала обо всем, что знала, говорила и думала. Например, о том, как столкнулась с фашистом Джино; как встретилась с Надей, дочерью профессора Галиани; что почувствовала, вновь оказавшись в доме на корсо Витторио-Эммануэле, где в прошлый раз ощутила свою чужеродность. Я хотела, чтобы она снова с беспощадной прямоотой описала свой сексуальный опыт. О том, с какой болью и смущением я слушала ее, не перебивая, я поведаю как-нибудь потом.

Как только «Голубая фея» превратилась в пепел, порхающий над костром в заводском дворе, Лиля вернулась к работе. Не знаю, насколько сильно повлияла на нее наша встреча, но на протяжении нескольких последовавших дней она чувствовала себя несчастной, хотя и не понимала почему. Жизнь уже научила ее тому, что от поиска причин становится только хуже, и Лила просто ждала, пока несчастье не превратится в дурное настроение, затем – в легкую печаль и, наконец, растворится в повседневных заботах: помыть и покормить Дженнаро, заправить постели, убратся, постирать и погладить одежду Дженнаро, Энцо и свою, приготовить обед, отвести сына к соседке, оставив ей тысячу наказов, побежать на завод и отработать тяжелую смену, наслушавшись оскорблений, вернуться домой, позаниматься с Дженнаро и его приятелями по играм, приготовить ужин, поест, уложить Дженнаро, пока Энцо убирает со стола и моет посуду, вернуться на кухню и помочь ему с учебой, которой он был увлечен, а она не могла ему отказать, даже если очень уставала.

Что она видела в Энцо? По большому счету то же, что раньше хотела видеть в Стефано и Нино, – возможность расставить наконец в жизни все по своим местам. Но Стефано, когда развеялась дымовая завеса богатства, оказался тряпкой и жестоким человеком, а Нино, когда рухнула иллюзия ума, – безответственным вертопрахом. Зато от Энцо неприятных сюрпризов можно было не ждать. Еще в начальной школе она по непонятным причинам выделяла из общей массы этого мальчишку и относилась к нему с уважением. Теперь он превратился в надежного и целеустремленного мужчину, настолько же решительного с другими, насколько мягкого с ней, и она не допускала, что он вдруг изменится.

Разумеется, они не спали вместе, Лила не хотела. На ночь каждый закрывался в своей комнате, и она слушала, как он ворочается за стенкой. Потом он затихал, и оставались только звуки ночной квартиры, подъезда, улицы. Несмотря на усталость, она плохо засыпала. В темноте все причины ее бед, в которых она боялась признаться самой себе, сливались в тревогу о Дженнаро. Что из него вырастет, думала она. Надо перестать звать его Ринуччо, не то тоже скатится на диалект, думала она. Его дружков тоже надо чему-то учить, а то они его испортят, думала она. Но где взять время и силы, я уже не та, что раньше, давным-давно ничего не пишу и не читаю книг, думала она.

Иногда у нее возникало ощущение, как будто что-то давит на грудь. Она пугалась, зажигала свет и смотрела на спящего сына. Он совсем не был похож на Нино, скорее на ее брата. Когда Дженнаро был младше, он все время был с ней, а теперь ее компания ему быстро надоедала, он начинал капризничать, просил отпустить его играть и мог наговорить грубостей. Я очень люблю его, размышляла Лила, но люблю ли я его таким, какой он есть? Ужасный вопрос. Хотя соседка говорила, что Дженнаро очень умный мальчик, чем больше Лила за ним наблюдала, тем отчетливее понимала, что ее сын не совсем такой, каким ей хотелось бы его видеть. Она подозревала, что годы, которые она посвятила ему, не дали результата, и больше не верила, что личность человека зависит от того, как прошло его детство. Жизнь требовала постоянства, а у Дженнаро его не было, как, впрочем, и у нее самой. У меня мозги наперекосяк, думала она, я ненормальная, и он тоже ненормальный. Потом ей становилось стыдно этих мыслей, и она шептала спящему ребенку: «Ты молодец, уже умеешь писать, читать, складывать, вычитать. Это мать у тебя глупая, вечно ей все не так». Она целовала мальчика в лоб и выключала свет.

Но ей все равно не спалось, особенно если Энцо возвращался домой поздно и сразу шел к себе и не звал ее заниматься. В такие ночи она представляла, что он ходил к проститутке или завел любовницу – девушку с фабрики или активистку коммунистической ячейки – в партию он вступил давно. Мужчины так устроены, думала она, по крайней мере те, кого я знаю: им постоянно нужен секс, они без него не могут. Не думаю, чтобы Энцо в этом отличался от остальных: с чего бы? Я сама его оттолкнула, отослала спать в другую комнату и не имею права ничего ему запрещать. Она боялась одного – что он влюбится и прогонит ее. Остаться без крыши над головой она не боялась: у нее была работа, и она чувствовала себя сильной – как ни странно, более сильной, чем когда выходила замуж за Стефано, получив в свое распоряжение много денег, но еще и необходимость во всем подчиняться мужу. Ее пугала мысль о том, что она потеряет внимание Энцо и его заботу. От него исходила тихая мощь, благодаря которой она и спаслась – сначала от предательства Нино, а затем от преследований Стефано. Кроме того, в той новой жизни, которую она вела, Энцо был единственным человеком, верившим в ее выдающиеся способности.

– Можешь это прочитать?

– Нет.

– Но ты все же попробуй.

– Это по-немецки, Энцо, я же не знаю немецкого.

– Да тебе стоит только захотеть – мигом выучишь, – говорил он ей отчасти в шутку, отчасти всерьез.

Энцо, получивший диплом ценой невероятных усилий, считал Лилу, доучившуюся до пятого класса начальной школы, значительно умнее себя, и приписывал ей волшебную способность быстро осваивать любые новые дисциплины. Впрочем, он сам очень рано догадался о том, что языки программирования электронно-вычислительных машин во многом определяют будущее человечества, и люди, первыми овладевшие ими, сыграют особую роль в мировой истории. С этими мыслями он и обратился к ней:

– Помоги мне.

– Я устала.

– Жить так, как мы сейчас живем, нельзя, Лина.

– Нормально живем.

– Ребенок целыми днями с чужими людьми.

– Он уже большой, не держать же его под стеклянным колпаком.

– Посмотри только на свои руки!

– Мои руки, что хочу с ними, то и делаю.

– Я хочу больше зарабатывать, для тебя и для Дженнаро.

– Думай о своих делах! А о своих я сама позабочусь.

Она, как всегда, огрызалась. Энцо записался на заочные курсы (для их бюджета очень недешевые) и должен был регулярно отправлять выполненные задания в Цюрих, в международный центр обработки данных, где их проверяли и

возвращали с исправлениями. Понемногу он втянул в это дело Лилу, и она пыталась его догнать. Правда, на сей раз она вела себя совсем не так, как когда-то с Нино. Того она выводила из себя, навязчиво доказывая, что способна оказать ему любую помощь, тогда как с Энцо занималась спокойно, не пытаясь его обогнать. Если для него вечера, проведенные над книгами, были трудом, то для нее – способом успокоиться. Возможно, именно поэтому в те редкие дни, когда Энцо возвращался домой поздно и не приглашал ее разделить с ним его увлечение, Лида не могла заснуть и с волнением прислушивалась к шуму воды в ванной, воображая, что Энцо смывает с себя следы любовных походов.

29

Лида быстро сообразила, что рабочие завода, возвращаясь после трудового дня домой, не испытывали ни малейшего желания заниматься сексом с женой (или мужем) – у них не было на это сил. Зато утром и днем, когда они приходили на работу, природа брала свое. Мужчины постоянно распускали руки и не пропускали ни одной девушки, чтобы не сделать ей непристойное предложение. Женщины – особенно те, что постарше, – в ответ только смеялись, прижимались к ним, выпячивали грудь и напропалую флиртовали – такая любовь служила им развлечением, отгоняла усталость и скуку, дарила иллюзию настоящей жизни.

С первых дней работы мужчины начали обхаживать Лилу, осторожно прощупывая почву. Лида каждому давала от ворот поворот, они хмыкали и отставали, напевая песенки, полные грязных намеков. Однажды утром, чтобы раз и навсегда положить конец приставаниям, она чуть не оторвала одному рабочему ухо – тот, проходя мимо, сказал сальность и поцеловал ее в шею. Того типа звали Эдо – мужик под сорок, довольно приятной внешности, который клеился ко всем женщинам и рассказывал похабные анекдоты. Лида мертвой хваткой вцепилась ему в ухо и изо всех сил потянула, одновременно нанося ему удары ногой; он орал благим матом и вырывался. После этого взбешенная Лида пошла к Бруно Соккаво жаловаться.

С тех пор как Бруно взял ее на работу, она видела его несколько раз, но не обращала на него внимания. На сей раз у нее была возможность рассмотреть его хорошенько: он стоял за своим письменным столом – встал, как положено воспитанному мужчине, когда в комнату входит женщина. Вид его удивил Лилу:

отечное лицо, тусклый взгляд пресыщенных глаз, жирная грудь, но главное – цвет лица, красный, как жидкая лава, особенно заметный на фоне черных волос и крупных белых зубов. «Неужели это тот самый парень, который дружил с Нино и изучал право?» – изумилась она про себя и поняла, что между каникулами на Искье и колбасным заводом вообще нет никакой связи, ничего, кроме зияющей пустоты, и, очевидно, для Бруно прыжок из одного мира в другой не обошелся без последствий; кроме того, его отец заболел, и предприятие (по слухам, вместе с долгами) внезапно перешло под его полную ответственность.

Она высказала ему свои претензии, он рассмеялся.

– Лина, – сказал он, – я сделал тебе одолжение, взял тебя на работу, так нечего морочить мне голову. Люди работают, устают, и я не могу запретить им расслабляться, иначе они будут выливать свое недовольство на меня.

– Так расслабляйтесь друг с другом.

Он окинул ее повеселевшим взглядом.

– Я знал, что ты любишь пошутить.

– Позволь мне самой решать, что я люблю, а что нет.

Суровость Лилы заставила его сменить тон. Он сделал серьезное лицо и сказал, не глядя в ее сторону:

– А ты не меняешься: все такая же красивая, как на Искье. Иди. – Он указал ей на дверь. – Иди работай.

Однако с того дня, каждый раз, когда они сталкивались на заводе, он не упускал случая при всех поздороваться с ней, отпустить какую-нибудь любезность. Это немного облегчило Лиле существование: все поняли, что она в фаворе у молодого Соккаво, и лучше ее не трогать. Вскоре им выпал случай еще раз в этом убедиться. Однажды после обеденного перерыва толстая женщина по имени Тереза преградила Лиле дорогу и сказала, ухмыляясь, что ее ждут в сушильном цехе. Лиля вошла в большое помещение, где под желтыми лампами, свисая с потолка, сохли колбасы. Там был Бруно: он делал вид, будто проверяет

работу цеха, а сам просто хотел поболтать.

Кружа по цеху и с видом специалиста ощупывая и обнюхивая колбасы, он спросил, как поживает ее невестка Пинучча. Потом, не глядя в ее сторону и проверяя упругость колбасы, сказал: «Твой брат никогда ей не нравился, а тем летом она влюбилась в меня, как ты в Нино». Лила насторожилась, а он двинулся дальше, повернулся к ней спиной и добавил: «Благодаря ей я узнал, что беременные обожают заниматься любовью». Затем, не дав ей возможности хоть что-то сказать в ответ, веселое или сердитое, остановился в центре зала и сказал, что с детства ненавидел этот завод и только здесь, в сушильной камере, всегда чувствовал себя комфортно. Здесь он испытывал чувство удовлетворения, некой завершенности – продукт почти готов и, источая аромат, доходит до кондиции перед отправкой на рынок. «Посмотри, потрогай, – сказал он ей. – Какие они твердые, упругие. А как пахнут! Когда мужчина и женщина ласкают друг друга, пахнет почти так же. Тебе нравится? Знаешь, скольких девушек я сюда приводил, еще мальчишкой?» С этими словами он обхватил ее за талию, скользнул губами по ее длинной шее, стиснул ее ягодицы. Казалось, у него выросла сотня рук: они с бешеной скоростью шарили у нее под фартуком, без всякого удовольствия, с единственной маниакальной целью – доказать свою силу.

Все вокруг, начиная от запаха колбас, напомнившего Лиле о том, что вытворял над ней Стефано, на миг вселило в нее страх – она испугалась, что сейчас он ее убьет. Затем ее охватила ярость, она врезала Бруно по физиономии, двинула ему между ног и крикнула: «Ах ты дерьмо! Да у тебя там и нет ничего, давай, доставай что осталось, оторву на хрен! Мудак!»

Бруно выпустил ее, вытер с губы кровь, нервно хихикнул и пробормотал: «Извини, я рассчитывал хоть на каплю благодарности». Лила обожгла его взглядом: «Хочешь сказать, что с меня причитается? Не то ты меня уволишь, так, что ли?» Он снова засмеялся и замотал головой: «Нет-нет, не хочешь – не надо, все. Я же извинился, чего тебе еще надо?» Она была вне себя: только сейчас она почувствовала на себе следы его лап и поняла, что ей теперь долго от них не избавиться – такое мылом не смоешь. Она отошла к двери и бросила ему: «Считай, что сегодня тебе повезло. Но, клянусь, ты еще проклянешь минуту, когда осмелился меня тронуть!» Лила ушла, а он все бормотал ей вслед: «Да что я тебе такого сделал? Я же ничего не сделал. Навыдумывала себе! Я ссориться не хочу!»

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Здравствуй, грусть!» – роман французской писательницы Франсуазы Саган, вышедший в 1954 г. – Здесь и далее прим. пер.

2

Лидер западногерманского студенческого движения 1960-х.

3

Один из лидеров студенческих волнений во Франции в мае 1968 г.

4

Итальянский левый журнал по проблемам политики и культуры, издавался в 1962–1984 гг.

5

Monthly Review («Ежемесячное обозрение») – американский левый теоретический журнал.

6

Крупный политический деятель Италии, христианский демократ.

Купить: <https://telnovel.com/elena-ferrante/te-kto-uhodit-i-te-kto-ostaetsya>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)